наедине с самим собой







Владимир Чернов

ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ СУДЬБЫ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

ББК 87.717
Ч 49

Чернов В. Б.

Ч 49 Первые строчки судьбы. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 222[2] с. — (Наедине с самим собой).

ISBN 5-235-00584-8

Автор размышляет о пути, который должен пройти каждый подросток: от социальной инфантильности до социальной зрелости, о жизненных ценностях, об ошибках, которые нередко совершают молодые люди, стремясь к самоутверждению, истинному или ложному, о тех, кто воспитывает в себе чувство ответственности, сознательности. Публицист ведет искренний, откровенный разговор с молодежью, отталкиваясь от читательских писем, дневников, судеб своих героев.

ББК 87.717

Ч $\frac{1102050000-059}{078(02)-89}$ 038—89

ISBN 5-235-00584-8

ОТ АВТОРА

Говорят, эпиграфы вышли из моды. Но хочу начать со стихотворных строчек. Не потому даже, что они — ключ к тому, что собрался рассказать. Это строчки из песен, которые жадно слушают нынешние молодые люди. Из песен, что переписываются с магнитофона на магнитофон, миллионными кассетными косяками кружат по стране, минуя теле- и радиоэфир.

Потому они слушаются, что в них — правда. Не обо всем. Но для многих 16—20-летних она — о вещах, важных необычайно, порою жизненно важных: о разладе в душе, несовершенстве мира, в котором выпало жить, о тоскливом незнании пути. Счастливы молодые, живущие в гармонии с окружающим. Но я о тех, кто терзаем миллионом терзаний, раздираем противоречиями в попытках найти себя и свое назначение. Что же для них важно?

Я думал, что нужно быть привычным к любви,
но пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе.

Жить быстро, умереть молодым!
Это старый клич.

Все, что я тебе скажу, все будет из бумаги!

Я — инженер на сотню рублей,
и больше не получу.
Мне двадцать пять, и я до сих пор
не знаю, чего хочу.

Им поют, приплясывая, с эстрады, с телеэкранов:
— Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня!

А они:
— Как легко верить в то, что вам с детства долбят,
сомневаться в чем-либо лень!
Хорошо засыпать, жрать и дев целовать:
пусть всегда будет выходной день!

Им:
— Малиновки заслышав голосок...

Они:
— Я по-ко-ряю города
истошным воплем идиота!

Им:
— А у лилипутика ручки меньше лютика!

Они:

— И я мог бы быть таким же, как ты,
и это бы было верней.
Но — чтобы стоять,
я должен держаться корней!

Им:
— А я бегу, бегу, бегу,
бегу, бегу, бегу, бегу,
бегу, бегу, бегу, бегу,
а он горит!

Они:
— Посмотри, старина, на любого щенка —
он резвее тебя и злей!

Им:
— Эй вы, там, наверху!..

Они:
— Вот одна престижная кормушка.
Чавканье доносится оттуда...

Им:
— Мама, купи мне белую панаму!

Они:
— Папа исполнит любой сыночкин каприз!
Папа заставит весь зал кричать ему: бис!
Раскройте рты, сорвите уборы:
на папиных «Волгах» — мальчики-мажоры!

Такой получается диалог. А мы разводим руками — надо же! Ничего такого прежде в помине не было, ан, неизвестно, откуда свалилось на наши головы! Так уж и неизвестно? И нечего разводить руками, надо искать контакт. Да вроде бы ищем уже. И не только взрослые, ищут и они, наши дети, пытаются найти с нами общий язык, не случайно в одной из песен поют о том, что важнее всего «поиски контакта, поиски рук».

Я хочу, чтобы мы с вами, все вместе, обернулись сейчас назад, туда, где начинался разлад, попытались выяснить, с чего и как? Выяснив причины — не окажемся немы перед результатом.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТРЕВОГА





ОДИНОЧЕСТВО ВТРОЕМ,

или Драма в трех точках зрения, а также версиях и предположениях

Хроника случившегося

Мать пришла с работы, переоделась, возилась на кухне, пила чай. Небольшой разговор с бабушкой о том, что купить на завтра. Дочь сидела в бабушкиной комнате. Чем занималась — неизвестно.

В кухню вошла дочь, одетая для гулянья, сказала, что пойдет к ребятам. Несколько фраз об уроках. Мать предупредила, что к 20.00 надо вернуться, будем ужинать, отец придет. Дочь возражала. Утверждала, что раньше 21.00 вернуться не сможет. Началось выяснение обстоятельств, в ходе которого дочь заявила, что, возможно, вернется и в 22.00 — «как все», хотя «все домой возвращаются и в одиннадцать, и в двенадцать».

Вернулся отец. Был весел, поинтересовался: «Что за шум, а драки нету?» Мать пожаловалась на дочь. Дочь вспылила, сказала, что живет, как в тюрьме. Отец возразил, что компания, с которой водится дочь, такая, которой место именно в тюрьме, и что он не то что дочери родной не позволил бы с этими придурками встречаться, но и вообще заявил бы куда следует. Дочь заметила, что эти придурки — ее друзья и, значит, отец и о ней самой тоже так думает. «Да! — согласился отец, — и о тебе! Я не знаю, чем ты там с ними занимаешься, может, водку пьешь, а может, и еще чего похуже!» Дочь сказала, что раз так, то она об отце думает примерно так же, как он о ней. Отец с маху влепил ей пониже куртки. Мать раздраженно отозвалась из кухни: «По почкам не попади!» — «Сейчас возьму ремень, — сказал отец, — и наделаю тебе на толстом месте лоскутов! А не пойдешь ты никуда, будешь сидеть

дома (тем более что уже восемь давно), пока не научишься вести себя с отцом как положено».

Дочь оттолкнула его, пробежала по коридору в комнату и выскочила на балкон. «Куда дверь расхлебянила! Зима на улице!» — крикнула мать. Отец пошел за дочерью следом, выглянул, на улице стояла ночь, на балконе никого не было. Повернувшись, он молча кинулся на улицу, мать сунулась на балкон и страшно закричала. Бабушка, все это время сидевшая у себя в комнате, теперь выглянула. Пес Кинг хрипло, с завывом взлаял. Мать ногой затолкала его в кухню и, отталкивая бабушку, побежала вниз.

Под балконом был палисадник, кусты, заваленные снегом, от тротуара отсоединял их еще и высокий ледяной нагреб, бульдозер прессовал здесь снег. Добраться до места под балконом отцу удалось не сразу, он провалился по пояс, переваливаясь через кусты, шарил в снегу. «Что там, что?» — спрашивала из-за гребня мать, бабушка тихо запричитала, закрывшись платком. «Ничего нет!» — ответил наконец отец. Дочь исчезла. Ситуация была идиотская.

Точка зрения первая. Дочь

«Пишу вам, потому что не знаю, что мне делать. В мои 16 я совсем потеряла надежду на понимание, казалось, близких людей.

Все началось лет 10—12 назад. Мне так много уделяли внимания мои родители! Но потом, не знаю почему, у всех появились свои заботы, никто не хотел поговорить со мной лишнюю минуту. Поиграть было не с кем. В детский садик я ходила мало, так как часто болела. Простужалась, с двух лет — воспаление правой почки. Приходилось все время проводить с бабушкой. А когда приходили из школы дворовые мальчишки, вместе лезли на крыши сараев, гоняли в «казаки-разбойники». Девочек во дворе не было. Поэтому я дружила с мальчика-

ми. Когда мне было девять лет, мы переехали на новую квартиру, но так как я никогда не дружила с девочками, у меня было с ними много конфликтов. Я много дралась, что бывает и сейчас, хотя реже и не так сильно.

Прошли годы. Мои родители вспомнили, что у них есть дочь. Но на их предложение сыграть в шашки, в лото она отвечает отказом. Она привыкла к тому, что у матери и отца свои дела, для которых она «еще мала».

Мы никогда не говорим откровенно. А иногда так хочется поделиться со своей МАМОЙ чем-то наболевшим, своей радостью или горем! Я пыталась с ними говорить, но чем больше и откровенней я говорила, тем больше они надо мной смеялись, после чего (а особенно, если я говорила о своих бедах) хотелось забиться в угол и плакать, пока есть силы. Каждый бы на моем месте в следующий раз ничего не сказал. Вот и я так делала. Думаю, лучше лишний раз промолчать. Но это обычно кончалось словами: «Ах, так?! Какое отношение к нам, такое будет и к тебе...» А дальше говорилось всегда о шмотках: что есть моего — продадут, ничего не купят! Они вообще между собой ни о чем другом и не говорят.

У нас в подъездах домов наклеены такие листочки, где написано, во сколько должны быть дома ученики. I—III классы могут гулять до 21.00, IV—VII до 22.00, VIII—X до 23.00. Я учусь в X классе, последний год, но мне нужно быть дома до 20.00. Не позже!

Мне не только стыдно перед одноклассниками, которые выходят гулять в восемь часов. Мне просто не с кем гулять до 20.00. Может, поэтому мне не с кем дружить? Вчера пришла в 23.00. Результат: «Шлюха!!! Вырастешь проституткой!!!» Дальше еще хуже. Мне трудно с моими родителями.

Когда-то, когда мне разрешали приходить к десяти, я опоздала на несколько минут, и меня так выдрали, что я ни сидеть, ни лежать не могла.

Но когда к ним приходят родственники или друзья с бутылочкой коньяка, родители показывают всем, какая у них хорошая семья. Нет, они не алкоголики. Отец даже курить бросил полгода назад. Но иногда пьющая мать лучше такой. Она говорит: «В семье алкоголиков дети бывают лучше, чем у нас». А матери?

Не буду на них жаловаться, как они выдирают мне волосы, бьют. Как отец бьет (может, нечаянно) иногда головой об стенку, ремнем по почкам (правда, мать в этом случае говорит: «Бей ниже!», спасибо ей!). Как это низко, когда они роются в моих вещах!

Я очень прошу вас, скажите, какие права имеет человек в 16 лет? Может, вообще никаких? Могу ли я надеяться получить возможность не жить с ними? Я согласна на все, лишь бы не слышать, как ругаются эти «воспитанные» люди, «подметки которых я не стою», но которых не уважаю. Или для этого нужно обязательно совершить какое-нибудь преступление и попасть под суд?

Светлана П.».

Я показал это письмо нескольким знакомым молодым людям, недалеко еще отошедшим от школьного возраста, и спросил, что они обо всем этом думают.

Версии и предположения

Алеша. Я эту ситуацию не понимаю. У нас в семье всегда, с детства моего, родители советовались с нами, а нас было трое детей, и до сих пор мы все решаем вместе. У нас ничего подобного быть не может. Это **неправильная семья.**

Рита. Помню счастье, когда меня купала мама в детстве. А сейчас у моих родителей свои дела. Мне кажется, что у этой девочки отец — не любит мать, и им не до дочери. А она стоит как бы в стороне от семьи, и за ней наблюдают. **Одиночество, об одиночестве это письмо.**

Андрей. Как обычно рвутся контакты с родителями?

Обычное дело: ты влетаешь и начинаешь говорить им о том, что тебя взволновало, не обращая внимания на то, что происходит у родителей, а они, может, отношения выясняют, и тебя просто не воспринимают. Тем более что подростки обычно не информацию сообщают, а эмоции. Кино: этот подходит — джж-джж! тот — тииуу! и этот — бемс! Любимая рок-группа: д!д!д!д! чшшш, чшшш, тюмс, тюмс, д!д!д!д! ка-а-айф! Друг друга они понимают, а объяснить, что с ними происходит, взрослым, как правило, не могут, но злятся, когда их не понимают. Им-то самим все ясно, и кажется, что взрослые к ним относятся несерьезно. И хлопают дверью, и, когда родители, выяснив свое, подходят: что с тобой там приключилось? ты уже кричишь: я вас ненавижу!

Понимаете, пока ребенку пять-шесть лет — родители его пестуют, с ним возятся и, кстати, прекрасно и лепет его понимают, а потом он идет в школу, его как бы сбывают с рук. И наступает дисконтакт. И уже никто не учит его общаться со взрослыми, их воспринимать. **Родители не готовят детей к жизни среди взрослых.**

Женя. Глупо как-то играть в лото, но, с другой стороны, и лото ведь может быть формой пусть не духовного общения, но душевного теплообмена. **В этой семье потеряно что-то очень важное.**

Посещение места происшествия

В доме лишь бабушка и внучка, вернувшаяся из школы, да огромная головастая собака, короткошерстная помесь ростом с дога, с висячими лопухами ушей, жутковатое создание Кинг, наводящее ужас на соседей. Хрипло ревя, он атаковал входную дверь, желая сожрать пришельца, потом дверь кухни, куда был временно помещен, потом его вдруг впустили, он на меня кинулся, но будто ударился о невидимую стену, и она его отбросила. А это он в запале наступил на ковер. Его будто током дернуло. На ковер ему ступать нельзя,

объяснила бабушка, был так бит, что теперь он ковра боится. Поэтому гость, достигший неприкасаемого места, может считать себя в полной безопасности. Я помещался на диване, диван на ковре, в метре от меня стояла собака, ненависть клокотала в ее горле, мельком взглянув в ее глаза, на уровне моих глаз, я догадался, что расправа будет ужасной, но короткой.

Бабушка успокаивала меня рассказами о том, как Кинг кусает домашних. Внучка Света сказала, что Кинг только ее боится: если что-нибудь не так сделает или вздумает сопротивляться — «я так его отхлестаю поводком, сразу станет как миленький».

Светлана оказалась светленькой рослой девочкой с неопределенно симпатичным лицом, лицом, еще не принявшим окончательного выражения, — красота молодости.

Светлана. Зря я это письмо написала. Очень злая была в тот раз. Обиделась на родителей. Я не думала, что кто-то приедет. Хотя, в общем-то, все, что я написала, так и есть. Но все не так уж и страшно. Раньше я это резко ощущала, еще год назад так хотела братика или сестричку, так мне было одиноко, а сейчас думаю — а чего! Скоро свои дети будут.

...Светлану коснулось предвестие взрослости, вот что произошло. И помельчали беды. Но это было именно лишь предвестие. Нынешняя жизнь ее так же неопределенна, как выражение на лице. А что там, впереди?

Светлана. Сначала я хотела быть учителем или врачом, но сейчас не хочу. Учителем — дети нервы будут трепать. Врачом — я ответственности не люблю. Потом я стала умней и взрослей. Сейчас хочу быть парикмахером, я люблю делать прически, но парикмахеры мало получают, и волосы отстриженные всюду лезут, могут врасти под ногти или в тело впитаться. Или вот хорошая работа — хлеб печь. Так вкусно пахнет! Но мы проходили практику на хлебозаводе — ужас! Рабочие грубые, курят прямо тут же, и всюду бегают тараканы.

Одна бригада там только хорошая, на мелкоштучном, булочки делают, такие люди веселые и чистые.

Учиться дальше? Я ленивая, на заочном не смогу. И на очном не смогу — надо же зарабатывать, я люблю деньги тратить. Но на хлебозавод все же не пойду, зимой там холодно, как на улице, летом очень жарко. Потом, там ведь растолстеешь, там все едят хлеб и от этого толстые.

...Такие у Светланы весьма неопределенные планы. Обаяние откровенности: «я ленивая», «ответственность не люблю», «люблю деньги тратить». А вот где же их брать? Пока неясно, одна профессия «вкусно пахнет», но — тараканы, в другой — «волосы могут в тело впитаться». Смешной, наивный, но какой-то очень уж ненадежный ребенок шестнадцати лет.

И родители у ребенка, в общем-то, заботливые, одевают, обувают, шуба у нее просто классная, вот сапоги за 120 рублей, мать купила. «Но лучше бы уж не покупала, а так деньги дала, я бы и дешевле и лучше взяла». С ощущением того, что «сейчас носят», у родителей слабовато. А как насчет битья? «Ну, стукнут разок, — отзывается Света, — так ведь не столько больно, сколько обидно». В общем-то к битью Светлана относится философски, она и сама ведь при случае может врезать тому же Кингу, да и, поцапавшись с друзьями, «отвешивает» кому-нибудь без колебаний, это привычка с детства. Я так понял, что главная точка преткновения в отношениях Светланы с родителями: велят рано приходить. Посягают на самостоятельность. Впрочем, домой она возвращается вовсе не в 20.00, как требуют родители, а и в 22.00, и в 23.00, просто они ее за это ругают. А она все равно приходит поздно. Ей хочется, чтоб не ругали.

Что же это за место такое, куда ее нестерпимо тянет, откуда ее не выманишь, и чем там угощают?

Светлана. Сидим у Клюшкиной, мы с ней в одном классе, нас двое и трое ребят: Серый, Мамонт и Вася

Парфенов. В карты играем, в «дурака», кто проиграл, тому картами по носу бьют. В дискотеку тут ходили, а так — вечер за вечером, больше делать нечего. Клюшкина собирается замуж выходить за ихнего квартиранта, ему 23 года, а он хилый, а она здоровущая. Она уже с солдатами гуляет. Меня раз позвала, пришли к ним, а она сразу ушла, я одна осталась с двумя. Они стали приставать, я говорю: «Вы чего?» А они: «А ты чего? Зачем тогда пришла?» Я от них бежать, они за мной, испугалась жутко, там скользко было, еле убежала, но их сержант увидел, они и перестали за мной гнаться.

Один раз в машине катались. У Мамонта «Запорожец», не его, отца, у Мамонта даже прав нет, но он катается, когда хочет, мы выпили немножко, в основном мальчишки, и катались где-то, между какими-то гаражами, далеко заехали, весело было, мы все время дрались, ну, щипались, мальчишки приставали, а мы отбивались, я одному ногой в глаз как дам! Но не сильно.

Резко — мое любимое слово. Резко встала, резко ухожу. Я, когда мы еще на Заячьем острове жили, с мальчишками дралась, троих запросто могла побить. А сейчас всерьез уже не дерусь. Тут ходили классом в турпоход, в Паронино, так я у них там за няньку была. Смешно. Вечером они все перепились, ползают по палаткам! А я ночевала с одним мальчиком, так они к нам все сползлись, сначала Клюшкина приползла, лежит, страдает, а тут снаружи на нее кто-то как рухнет, палатка упала, и они все запутались, ужас, я их всех доставала, потом рвать водила, так всю ночь и пробегала.

Это уже после Славика было. Сейчас я с Серым дружу. А со Славиком я по телефону познакомилась. Мне Валюха говорит, я, говорит, телефон знаю одного мальчика, давай позвоним, ну мы и позвонили, и договорились встретиться у овощного магазина. Они пришли, высокие такие ребята, я люблю высоких, и смотрят по сторонам, ищут нас, а мы маленькие, я тогда маленькая

была, в седьмом классе, они нас не видят, да и не знают ведь нас в лицо, постояли-постояли и стали прохаживаться, а мы за киоск спрячемся и хохочем, они нас заметили, но сделали вид, что не заметили, и снова смотрят над головами, ждут — кто их пригласил. Потом сели в автобус и уехали, а мы следом пошли. А они остановку проехали и решили вернуться, идут нам навстречу, мы опять засмеялись, они нам говорят: «Это вы, что ли?» Так и стали дружить. Потом Славика в армию забрали, я ему письма пишу, он мне тоже, говорит — скучаю, вот его фотография, правда, красивый? Но мне не хочется с ним дружить, он какой-то подлый. Я с ним дружу потому, что он моим родителям нравится, но он только притворяется, что вежливый, веселый и ему хорошо, он с ними нарочно вежливый, чтобы не приставали, а так он — хам трамвайный. Серый куда лучше, но очень грубый, его родители поэтому и не любят.

Вот так живу. Ничего сейчас и не читаю. Родители вам скажут, что у нас книжек полно. Но их никто не читает, а мне они их и не дают, это их книжки. Газеты читаем. Лет десять назад я читала «Ниссо» — знаете? А тут как-то, смех, я сама книжку купила. Полезных советов: как похудеть, массаж делать: я не хочу толстеть. Но мать у меня ее забрала, и где эта книжка сейчас — не знаю. Что к ним попало, то пропало. Это я про родителей. Они меня в свою жизнь не пускают.

Вот они все время ссорятся. И все из-за таких пустяков! Все их раздражает. Раньше я этих ссор терпеть не могла. И вмешивалась. Иногда на стороне отца, иногда — матери. В зависимости от того, кто прав. Я хотела — по справедливости. А потом поняла, что они ссорятся не из-за справедливости, а понять невозможно, из-за чего. И выходит от моего вмешательства только хуже. Отец кричит, что я — хамелеон. А мать кричит: не лезь в нашу жизнь! Хорошо. Живите сами! Но уж и в мою жизнь не лезьте!..

...Итак, единственное, чего хочет единственный ребе-

нок, — чтобы семья оставила его в покое и в его жизнь не лезла. А уж какая там у него жизнь — хорошая-плохая, это его дело, и пусть не пристают.

Кстати, куда же делся ребенок Света, когда столь неожиданно исчез с балкона и не был обнаружен внизу потрясенными родителями? Ребенок просто перелез на соседний балкон и, постучавшись к онемевшей соседке, был ею впущен, где и оставался, пока родители рылись в снегу. Так наказал он их за то, что посягали на его независимость.

Атака ребенка привела к некоторому изменению в расположении сил на поле боя. Осунувшиеся родители обращались некоторое время с дочерью, как с тяжелобольной, потом это прошло, но с занятых позиций дочь не сдвинулась, и, хотя родители и журят ее осторожно за поздние приходы, она уже не ставит их в известность о времени прибытия, более того, ее компания время от времени стала посещать Свету и здесь играть в своего «дурака».

Бабушка. Ходил к ней Слава, уж такой приветливый паренек, веселый: «Здрасьте, бабушка! Покормите, чем бог послал!» Я ему и чайку сделаю, с ними посижу, а теперь как заявятся эти оглоеды, накурят, натопчут, потом сядут в карты играть, ржут, глотки-то луженые, га-га-га! — я на них цыкну, выйдут на лестницу, как посыпятся вниз — гу-гу-гу! — а накурят там! окурков набросают! А у нас соседи строгие, мне уже грозились: отцу пожалуемся!..

...Так снялся конфликт, а стало ли теплее в доме? Не стало. Отчуждение в форме попыток заставить противную сторону считаться лишь с собой, сменилось отчуждением в форме взаимного невмешательства. Лучше стало? Спокойней. А может, и лучше, если не считать того, что теперь исчез из отношений контакт и надежда на взаимопонимание стала еще проблематичней.

Ах, родители! Вот какое чадо выросло у них — думающее лишь о себе, о собственных мизерных удоволь-

ствиях, ничего не читающее, ничем не интересующееся, предпочитающее их обществу компанию «оглоедов». Мама с папой, что же вы-то обо всем этом думаете?

Точка зрения вторая. Родители

Мать. Света — тяжелая девочка. На вид она — миловидный ребенок, но в ней какая-то сила сопротивления и жестокость. Она же видит, как нам с отцом тяжело все достается, мы ведь работаем на двух работах каждый, чтобы в доме был достаток. И он есть. Шубы, обувь, цветной телевизор, четыре магнитофона, отец увлекается, фотоаппараты, ну и не знаю, что уж еще. Все! Так помоги же ты родителям, не бей баклуши, ведь начнется твоя собственная жизнь, и увидишь, что ничего ты в ней не умеешь, просто заработать не умеешь, а умеешь только потреблять. Привыкла жить обеспеченно, сытно, одета, обута, все есть, а как это достается? Ну хоть бы сочувствие к родителям!

Конечно, мы слишком мало видим ее, приходим поздно, я после работы убираю одно учреждение, отец до завода работал слесарем-сантехником, у него сейчас осталась вся его клиентура, весь вечер он пропадает: все просят — придите, почините, как людям откажешь? Он никому не отказывает. Бабушка, и выйдя на пенсию, тоже работала, пока зрение у нее не испортилось. У нас даже собака работает, отец отводит ее на ночь в одну контору и там выпускает, она сторожит, и получается еще одна небольшая зарплата. Не работает одна Светлана и не умеет работать. А ест, пьет, одевается. Вот и получается, что мы все работаем на нее. Но когда мы вечером приходим усталые, вместо того чтобы отдохнуть, я должна заниматься хозяйством, от дочери не дождешься, чтобы она приготовила ужин, вымыла пол, убрала квартиру. Сделает кое-как — и скорее к этим, своим.

А компания эта — какая-то неприятная. У Светланы

был до них мальчик очень милый, вежливый, чистенький, зайдет к ней, с нами поздоровается, про здоровье спросит. А этих страшно в доме видеть. У нас же чистота, ни пылинки, а эти придут, как со свалки какой-то. Нечесаные, все на них болтается, и в поведении эта развязность! Они учатся в ПТУ, боюсь, что все они из неблагополучных семей. Поговорить толком не могут, придут, что-то буркнут под нос, ботинок не снимут, сядут и сидят, такие тупые на вид, и хохочут ужасными голосами, знаете эту вульгарную интонацию, тянут так: «А-а-э-э! Ну ты, плесень!» Представляете, их даже собака наша боится! Что это за дети, кто их родители, что они себе думают? И становится страшно, когда подумаешь, что они бесцельно тратят самое дорогое время — молодость, самые золотые годы, тут бы вроде и учиться, становиться людьми, сделать что-то полезное.

Я так переживаю, что Светлана с ними сдружилась. Это после того, как Славик ушел в армию. Это от одиночества, у нее же нет подруг, она очень ранимый ребенок, тихий. Они, эти, ею как-то завладели. Я верю, что это ненадолго, она же разумная девочка, поймет, что они ей не ровня. Она у нас всегда была самая-самая. Учится вот неважно, но ведь она болела. Но уж зато, в отличие от всех этих — курить она никогда не станет, это я знаю точно, и спиртного в рот не возьмет. Жаль, что в школе у нее нет компании. Они классом однажды ходили в турпоход на два дня, в Паронино, мы их провожали, вот это было чудесно, природа, дети отдохнули, так и надо проводить время, а не бездельничать целыми вечерами. Жаль, что школа не устраивает почаще такие вот выезды за город. Школа должна отвлекать детей от подворотен.

Я надеюсь, что скоро это наваждение у Светланы пройдет. Но вот как внушить ей, чтобы приобрела она цель в жизни? Мы ее не неволим, говорим, выбери себе любую профессию, поможем, наймем репетиторов, ты не нуждаешься, денег тебе зарабатывать не надо,

учись. Все ссоры наши из-за одного: будь человеком, говорим мы ей, помоги матери, помоги бабушке, уроки учи, не трать золотого времени напрасно, ведь все для тебя, только для тебя. Плохо, что читать она не любит, а ведь у нас в доме все классики есть, только читай, развивайся!

Отец. Светка дура еще, хоть и выросла выше матери на голову. Они все сегодня, девчонки, на вид здоровущие, а в голове полторы мысли: куда бы из дома смотаться. Куда? Туда, где их и поджидают, а потом родители отдувайся. Своего соображения нет. Сколько же, до каких же пор мы за них думать будем, до внуков — неизвестно от кого? Били мы их в детстве мало, а сейчас уже и не ударишь, вон какая телка! А этих дурошлепов, друзей ее так называемых, я в каждом подъезде встречаю — все на одно лицо. Тоже небось отцы-матери ищут их, ждут: где шляются? А может, уж и не ждут. Молодежь пошла — умеют только из родителей деньги качать, сами рубля не заработают, не умеют. Вот помрем мы, как они будут жить? Ведь их до пенсии придется нам на шее таскать, и детей их придется, сами-то они — безрукие. А надо им с каждым годом все больше и больше.

Вот смотрите: раньше покупались, например, джинсы. Пусть дорого, но ведь на несколько лет. А теперь — то носили джинсы широкие, потом — узкие, а вон уже ходят, я смотрю, — в карманах от пояса до пяток, и ведь все это — подай! С каждым годом все дороже обходится содержание ребенка. Самому на себя ему в наши дни не заработать, хоть умри...

Единственное, что мы в них воспитали, — это безответственность. Ни за что не отвечают. Безответственное поколение.

Я сам люблю и повеселиться: чуть вхожу домой, сразу музыку включаю, и цветомузыку установил, вон мигалки, но на все это веселье я сам себе заработал, оно — на мои собственные деньги. Я потому за стро-

гость в отношении детей, что иначе уже их невозможно контролировать. Значит, надо брать за руку, приводить: сиди и учи! Это не мне, это тебе нужно! Ничего, пострадаешь, потом мне же спасибо скажешь!

У меня в доме классики есть — читай на здоровье! Ведь классики учат: трудись! В труде обретешь ты счастье свое! Нет, куда там, разве заставишь книжку раскрыть!..

Точка зрения третья. Соседка, в прошлом учительница

Постучалась она ко мне с балкона, лицо белое к стеклу прижато, как я со стула встала — не помню. Ну, подумайте, вечер, вы сидите, читаете, лампа горит, поднимаете глаза, а за стеклом — белое лицо. Это на пятом этаже. Ну, открыла я ей, дрожит, я думала — от обиды, но она больше от холода. Я к ней с утешениями: девочка, говорю, ты что! Ты мне все расскажи. А она губу закусила, глаза бешеные. Очень сильно рассердилась на родителей. Такое злое торжество в ней было, вот такое, какое появляется, когда человек успешно кому-то мстит. Она и мстила: пусть-ка побегают там, потрясутся от страха, пусть знают, как ее задевать.

Дети, по-моему, самые жестокие существа на свете. Это я вам как педагог говорю. Они ведь и биологически так устроены, чтобы думать в основном о себе. Это им дано природой для самоутверждения, чтобы активнее вели себя среди людей. И как мы их ни воспитываем, как ни внушаем, что надо быть добрыми, они нас вроде и слушают, часто и поступают, как их уговорили, но живет в них какая-то злая сила. Я думаю, это еще и оттого, что им самим редко когда и кто делал больно. Они не знают, как больно иногда бывает. Вон он пальчик порезал, уже бежит весь белый: кровь! Малая его боль — для него трагедия. А чужая большая боль воспринимается скорее с интересом, с естествоиспытатель-

ским интересом. Да и то сказать: взрослым уж сама жизнь велит думать о детях, им все отдавать, в этом порой и смысл их жизни, а у детей все ведь иначе.

Но вот Подолякины, мама с папой. Живут рядом, пытаюсь их понять. С одной стороны, трясутся над своим ребенком, вроде бы все правильно. Но как трясутся-то? Как над вещью: пылинки сдувают и от жизни стараются уберечь. Для чего? Чтобы как можно целее была к моменту, когда замуж отдадут, чтоб получше устроить, повыгоднее сплавить с плеч? Тут, думаю, заживут они на время спокойно, впрочем, вряд ли, видимо, затеют разводиться. Они ведь не любят друг друга, отец-то чуть что — на сторону, потом скандал. А и как живут-то они! Им же поговорить друг с другом некогда. И, видимо, не о чем. Сойдутся вечером после многочисленных своих приработков, а уж и спать пора ложиться. Только-только и хватает времени, чтобы подсчитать заработанное да поскандалить. Может, они и скандалят-то — для разнообразия, для «веселья», чтобы хоть как-то жизнь свою взбаламучивать. Скандалы — единственная форма их общения. Три одиночки. Про бабушку не говорю, она существо уже растительное, безгласное. Мать с отцом сейчас и потому еще, думаю, не разводятся, что сплотились временно на сбережении дочери. До полной ее самостоятельности.

А от чего сохраняют-то? От кого берегут? Да от таких же, как сама она, ребят, из точно таких же семей. Я ведь родителей всех этих мальчишек из Светланиной компании хорошо знаю, они у меня учились, до сих пор со старой «училкой» кланяются. И знаете, я вам скажу — все они совершенно одинаково беспокоятся за своих чад: ах, не в ту компанию попали, ах, собьются с пути! И житье у всех одинаковое, те же ковры, хрусталь, магнитофоны, пусть не четыре, как у Подолякина, зато у Мамонтовых — машина есть, а у Парфеновых — дача. Так что, видите, и побогаче Подолякиных. И работают так же — с приработком, и мужчины в этих

семьях друг на друга похожи, крепкие такие, веселые мужички в тренировочных костюмах, берут от жизни все, и лишнее прихватят, если удастся. И жены у них тоже похожие — сосредоточенные на себе, в себя ушедшие со своим раздражением на мужа, на нудное течение жизни, с предчувствием старости, они и одеваются еще модно, и причесываются, но, знаете, появляется у нелюбимых женщин такой поджатый рот. Она еще не растратилась, а впереди уже — ничего. Они потому, думаю, и детей тиранят.

Хотят, чтобы дети их стали такими же. И не видят, что они и так — давным-давно — такие и есть, вот перебесятся и, не беспокойтесь, потянут собственное семейное тягло, станут мужьями-весельчаками и стареющими женами, вымещая свое несостоявшееся на детях. Я же все помню. Сами-то родители этих нынешних «хулиганов» в свое время вели себя точно так же. И раздражали кого-то, и пугали. А прошло время и — ничего. Все придет на круги своя. Только безрадостные какие-то эти круги. И мне обидно, что ничего большего, чем есть, из них не выросло. Я старуха уже, а себя корю: как-то, видимо, неладно мы их растили, чего-то им недодали. А сейчас они меня и слушать не станут.

Размышления над ситуацией

В чем-то права старая учительница Лидия Ивановна. Я не знаю случаев, чтобы дети из-за навязываемого им, но неприемлемого образа жизни порывали с родителями. Ругаются — да, конфликтуют, не разговаривают, пугают прыжком с балкона — сколько угодно, но порывают редко. Обычно же — занимают круговую оборону.

Пример такой обороны, и по сути — на грани разрыва с семьей, знаю. Пример, кстати, весьма в «духе времени»: юноша, окончивший вуз, сделал своим родителям предложение — мирно разойтись «экономиче-

ски» — и предъявил им счет, что-то, по-моему, тысяч на пять с какими-то там рублями. Он подсчитал те затраты, которые предстояло сделать на него родителям в будущем до тех пор, пока не станет полностью самостоятельным. Причем считал он, надо отдать ему должное, по минимуму, грабить родителей не собирался. Он предложил им выплатить ту, будущую, сумму уже сейчас, сразу, после чего сохранять чисто родственную связь, без заискиваний и угроз, которые, как он полагал, и порождались именно товарно-денежными отношениями.

И, знаете, что-то в этом расчетливом поступке показалось мне весьма симпатичным. Смотрите. Ведь нынешний ребенок в самом деле связан со своими родителями крепчайшими материальными путами. Не умеющий зарабатывать на себя, а в наши дни, если он хочет выглядеть не хуже сверстников, это действительно недешево, целиком зависящий от родителей, которые только и могут помочь ему в удовлетворении растущих потребностей, он, если и хотел бы независимости, то лишь такой, при которой родители бы его обеспечивали.

Так взращивается и культивируется паразитизм, который, кстати, прекрасно осознают совершеннолетние дети. Но одни в нем коснеют, к нему привыкают и уже вне его себя не мыслят (так семья отрабатывает привычку к притворству. У детей своих — на квартирном, бытовом уровне, но отрабатывает). А другим паразитизм противен. Вот и парень со своим «счетом к родителям» — так ли уж бессердечен? Его поступок — не попытка ли уйти от жизни, выстроенной на «взаимопоедании», к бытию, очищенному от расчетов, основанному лишь на понимании, любви, сыновних и родительских чувствах — самих по себе?

Ведь что происходит во многих нынешних семьях? В них что-то главное иссякает, некая духовная субстанция. И, внешне совершенно нормальная, семья такая —

как сухая губка, остов есть — но пустой внутри. Из нее дух вышел вон.

Я пробовал завести разговор с родителями Светланы о любви, которая только и может скрепить их развалившиеся отношения, наполнить остов ладом, растопить непонимание. Однако, едва начинал я свой монолог, лица их тупели, как на скучной, но обязательной лекции, и, чуть переводил я дух, они вклинивались: «Правильно говорите, вот и в газетах то же пишут, и мы о том же: сделай ты что-то для отца с матерью, пол вымой, посуду убери, облегчи нам жизнь». Да кто же спорит: надо, конечно, по дому помогать, но я-то о другом совсем — ну, послушается дочь, примется скрести и так сверкающую квартиру, а вернется ли сюда от этого любовь? «Да если каждый начнет делать свое дело, вот и будет хорошо!» — тут же соглашались родители. Они просто понять не могли, чего я к ним пристаю, чего добиваюсь. Язык, на котором я к ним обращался, не был их разговорным языком.

Не потому ли и их собственные чувства друг к другу куда-то исчезли однажды? Для чувств ведь мало совместного лишь проживания. А именно лишь местом совместного проживания стала для них семья. Сыграть в лото предлагают сейчас родители дочери, желая с ней пообщаться, ее пригреть. Помните то место из письма ее, где она рассказывает о своих попытках с родителями поговорить, пожаловаться на горести и обиды — исповедаться? В ответ — усмешки над «глупостями».

А ведь именно таких «глупостей» им и не хватает. Тех трогательных слов, обращенных друг к другу, которых стараются избегать подростки, чтобы не прослыть «нюнями». Я думаю, как раз этот дефицит ощутил поэт, сказав: «Давайте восклицать! Друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться!» Уж где-где и звучать таким словам, как не в семье. Почему же звучат они в семьях столь редко?

Именно семья, убежден, способна снабдить человека таким количеством душевных сил, моральной поддержкой, что спокойно сможет он жить и среди чужих людей, не мучаясь комплексами: де, не уважают, не понимают, не любят. Первый шаг к самоутверждению делает человек в семье. Она-то и есть самый простой, доступный каждому способ утверждаться. Почему же в семье не утверждает себя человек? Слишком часто не может он на нее опереться, не отсюда делает шаги к становлению, превращению в личность.

Это произошло потому, на мой взгляд, что нынешняя семья — во многих случаях стала — функциональна. В ней для того чтобы добиться стратегической цели: соответствовать довольно жестким престижным нормам, жить «как люди», требуются силы всех домочадцев. Все должны предельно работать, даже бабушка, пока не стали слепнуть глаза, даже собака: у каждого свои обязанности, свое дело, свои умения и каждый должен нести вклад свой в общую копилку. И если каждый, предельно выкладываясь, выполняет свою функцию — семья начинает преуспевать среди таких же, участвующих в гонке за престижем, семей. Но благополучие ее — кажущееся. За победу в гонке расплачивается семья жестоко — она перестает существовать как слитность родных людей, становится чем-то вроде отлаженного механизма. И — самое главное — каждый из членов ее так и остается не утвержденным как личность, духовно усохшим. И плохо ему в мире, среди других людей.

Но и миру не до твоих страданий, человек. У него своих забот по горло. На миру — лишь смерть красна, а жизнь чаще весьма однообразно и серо окрашена. Начнешь выбиваться — можешь получить по шапке. Проще было нырнуть в колею, тут никто не тронет, лишь тяни. Но — тянешь-потянешь, смотришь, а уже и не хочется вон. Сильно действовала на человека колея.

В КОЛЕЕ

Встречал я застенчивых людей, но таких застенчивых, как Люба, не попадалось. Спросишь у нее что-нибудь, она вспыхнет дотемна. Так надолго покраснеет, что уже думаешь, может, ошибся, просто лицо у человека такое. Нет, отходит понемножку, и вдруг опять, да так, что уши светятся. Особенность эту за ней все знают. Иван Васильевич Зимогляд, мужчина грузный, большого роста, с внешностью непреклонной и внушительной, заместитель начальника строительного управления, где работает Люба, заговорив о ней, как-то весь отмяк и присмирел, сказал, удерживая зычный голос: «За что эту девушку люблю: чуть что — она в краску». И стал загибать могучие пальцы: «Скромная, трудолюбивая, добросовестная, с народом имеет общий язык, безотказная». Загнул все пять, получился кулак. Он им ударил об стол и отпустил свой голос: «С недавних пор завелись у нас и другие. Горлохваты. Чуть собрание — лезут выступать. И обязательно вразрез. То им подавай, этим недовольны. Люба выступит — приятно послушать. Сразу молодость вспоминаю. Вот мы такие были. У нее один ответ: надо — сделаем! И других к тому зовет. А не выискивать недостатки!»

Все точно. Спрашиваю: «Люба, ну-ка расскажите про девчонок из своей бригады». — «Зачем это вам?» — пугается Люба и уже розовеет. «Любушка, да полноте, что вы, я просто хотел узнать, чем живете, как работаете». — «Они все исполнительные, трудолюбивые». — «Ну, хорошо, а кто ваша подружка?» — «Мы все подруги. Мы никогда не ссоримся, норму перевыполняем». — «Ну уж, так не бывает, и по мелочам не ссоритесь?» — «Нет. Мы всюду вместе, как одна семья. Вместе ходим на вечера отдыха, ездим за город, у нас общие интересы».

Будь Люба напуганным новичком-подростком, впервые попавшим на стройку и к взрослым людям, я бы

такую манеру как-то себе объяснил. Но ведь двадцать четыре года человеку, и шесть лет на стройке. В управлении ни одного собрания не проходит, чтоб не сидела на нем Люба в президиуме. Она член комитета комсомола управления, комсорг у себя в бригаде, заместитель бригадира. Недавно выбрали еще и в местный комитет. То есть такой организатор и активист, что дальше просто некуда. А о чем ни заговори — пугается так, будто изо всех сил старается скрыть нечто, только что происшедшее за спиной, причем такое, что из избы никак нельзя выносить.

Может, что-нибудь случилось на стройке? Ничего не случилось. И в бригаде все спокойно, ни скандалов, ни срывов. Что же Любу-то так стесняет? Скрывать ей явно нечего. Я ломал себе голову, пока не дошло: она просто такой человек. Ее жизнь такой сделала.

Как это с ней приключилось — вопрос интересный. Может, жизнь у нее какая-нибудь необыкновенная? Нет, живет, как все другие девчонки со стройки.

Пока я ломаю себе голову, Люба едет домой, в общежитие. Едет из нового района, где отделывают они дом. Новый район — сам по себе целый город, а ходит сюда лишь один трамвай да автобус. И едут на них, повиснув гроздьями, — в одну сторону строители, навстречу — новоселы.

Любе теснота не мешает, а скорее способствует, потому что чем тесней стоят люди, тем каждый больше остается сам по себе. Как только втиснется Люба, утвердится на одной ноге, еще и глаза закроет, чтоб вовсе никто не мешал, и начинает себе вволю думать. Никогда Люба в одиночку не жила, всегда с кем-то. И одиночество в переполненном автобусе она любит. Некоторые считают ее скрытной. Но это не так. Просто нет у Любы знакомого человека, которому она бы все рассказала, а он бы все выслушал.

Есть у нее, конечно, напарница Зина Станкевич, считается — подруга, но до конца и Зине она все-таки не

раскрывается. Да и Зины сейчас нет, ушла в декрет. Новая напарница у Любы долговязая Маша Петренко, с этой не поговоришь, она вообще разговора не любит. То есть болтать-то она болтает без остановки, но все не о том.

Сначала думает Люба о квартире, которую они с Машей сегодня оклеивали. Другие девчонки лишь скинули негнущиеся от клея и краски комбинезоны — так и из головы вон все, на что потратили день. Работа им — та, положенная всякому человеку необходимость, от которой не отвертеться. До поры до времени им вообще все равно какая работа. В любом обличье — она лишь средство, некое условие, которое необходимо выполнять, чтобы нормально жить остальную жизнь. Главная жизнь настает вечером, когда побегут девчонки в кино, а у кого парень — к парню на свидание. Что вечер пошлет, тем они живы.

Люба не так. Она девчонок будет повзрослей, и мысли у нее в голове идут, какие полагаются зрелому человеку, оценивающему свою жизнь с точки зрения ее перспектив.

Итак, думает сначала Люба о своей работе. Первое, с чего начнут счастливые новоселы, войдя в отделанную ею квартиру, — обдерут обои, соскоблят краску с окон и дверей: всю ее работу. Обидно.

— Почему обдерут, Люба?

— Та обои ж дурные, ночью проснешься — испугаешься. Краска серая, как та мышь.

А ведь обдерут. Обдерут профессионально наклеенные свекольно-багровые и ядовито-зеленые обои, профессионально же положенную мышастую краску под названием белила — и примутся, как умеют, клеить красивые обои, красить белыми белилами. Потому что нужна им квартира не для того, чтобы показать ее приемочной комиссии, а чтобы в ней жить.

— Люба, а почему краска серая?

— Так по ней мазков не видно. Не видно на сером,

как крашено, хорошо или плохо. И можно красить скорей.

— Проигрываете в качестве, выигрываете в количестве?

— Ну. Это ж производительность труда.

Действительно, кто же против производительности труда?

— А почему обои страшные?

— Так они ж дешевые, их красивых сроду не бывает, а дорогие кто ж нам даст?

— А потребовать?

— А кому то надо? Мы в общежитии живем. Если получит кто квартиру, так и с любыми обоями будет рад.

Квартира. Эта мечта у Любы давняя. Едет она и думает теперь о ней. Свою квартиру она бы сама отделала, нанимать никого не надо звать. Холодильник бы в нее купить, телевизор, палас обязательно. Мебельный гарнитур. Хотя бы «Надежду». А еще лучше «Сонату». Денег-то, денег заберет квартира! А еще хочется Любе синтетическую шубу, 400 рублей, под котика. До чего много нужно человеку вещей! Но ничего этого у Любы пока нет.

Кому завидует она, так это двум знакомым девчонкам: поступили на двухгодичные курсы бухгалтеров, и уже окончили, и работают. Поступить на курсы, а со стройки уйти — вторая ее мечта. Но сбудется ли? А пока она подъезжает к общежитию и прикидывает, как скоротать вечер.

У общежития под окном стоит уже чей-то парень и выкликает: «Марусю! Выдь до мене!» — «Та не пиду, — отвечает из форточки Маруся, — у меня ноги болять». — «Та выйди, что скажу». Конец переговоров не виден. Если придут парни, думает Люба, и не сильно пьяные, задираться друг с другом не полезут — то ничего, можно сходить в кино. Отчего они всегда выпивши? Где берут? Неужели в очередях этих жутких стоят? Что-ни-

будь почитать? Читать Люба любит, читает, правда, что под руку попало, хорошо, если попадается книжка про любовь. Но такую книжку найти трудно. Сейчас все пишут про производство или про деревню. И в газетах про то же: все не так, везде нехватки. Чего ж читать о том, чего и без книжки вокруг глазами видно, а из деревни Люба и так еле вырвалась. Бог с ней, с деревней, хоть бы вовсе ее не было.

Комната, в которой живет Люба «с двумя соседками» — чистенькая. Гора подушек в кружевах на каждой постели, на подушках — куклы, подарки к дню рождения. А некоторые сами покупают. Цветы на подоконниках, целые кусты зелени. На двери снаружи табличка: «Комната отличного быта». Соседки ей подобрались тихие, сговорчивые, чистоплотные. И они трое тоже считаются подругами, хотя по возрасту разница между ними велика. Люба соседок зовет по имени, как сверстниц, им стареть не хочется, хоть век коротать скорей всего так и придется в общежитии. У одной Любы, как общественницы, есть шанс отсюда выбраться. Живут, однако, смирно: долг отдают до копейки, вот и нет причин для ссор. Называется все это дом родной, думает Люба и щурит глаза. Век бы в нем не жила!

Поела Люба, села на стул посреди комнаты. Сидит, ждет, вдруг что-нибудь произойдет.

И точно. Прибегает Ира Стемпковская, секретарь комитета комсомола управления: айда в рейд по общежитиям. Айда! Вот и дело нашлось. И они целый вечер ходят, проверяют чистоту. Люба к Ире относится критически: «Секретарь! Одна видимость. За всех бегает, шуму много, толку мало». Но идет с ней в рейд охотно: все-таки какое-то движение в жизни. И целый вечер спорит Люба с комендантами, доказывает им, что надо перестраиваться, что общежитие должно быть для девчонок как дом родной. И краснеет. И, глядя, как заливает ее краска, неловко становится воспитателям и комендантам, неловко стоящим вокруг девчонкам.

Отношение к Любе у людей разное: сколько людей, столько и мнений, однако две крайние точки зрения выделить можно.

Ивану Васильевичу Зимогляду Люба нравится. Все в ней, он считает, так, как должно быть у каждого гармонично развитого человека. Про мечту ее о квартире знает и относится к мечте с уважением. «Вы заметьте, заметьте, — говорил он мне, поманив пальцем и наклонившись к уху, — это же основательный человек. Она не просто живет, как ветер в поле, а с целью, она готовится вить свое гнездо. И мы, как только выйдет она замуж, дадим ей отдельную комнату. С квартирами тяжело, но комнату дадим. Конечно, как только это случится, мы потеряем в ее лице активистку. Но таков закон жизни».

Активность, считает Иван Васильевич, у нормального человека — состояние возрастное. Нормальный человек берется за общественную работу в тот период жизни, пока еще не свил себе гнезда. Берется, потому что больше не на что тратить энергию, в то же время это верный способ о себе в жизни заявить и тем приблизить время устройства гнезда.

Второй точки зрения придерживается Галя Карпенко, человек незрелый, почти подросток. В бригаде Любиной она недавно, с взрослой жизнью до того впрямую не сталкивалась, училась в ПТУ.

Галя Любу опасается: «При ней мы стараемся никого и ничего не ругать, потому что она Дусе (это бригадир) обязательно все передаст».

И на это мнение есть основание. Между жизнью, которой живут девчонки, тусклой жизнью общежития и мало кому нужной работы, жизнью серой, как та краска, что красят они подоконники, ни хорошего, ни плохого не заметно, и словами, которые произносит Люба Ковалюк, как активистка, с трибуны или проверяющим о том, что жизнь их есть ударный труд и активный отдых — большое несоответствие. Так же как между

требованиями комиссии, принимающей квартиры, и ожиданиями новоселов. «Ковалюк у нас комсорг. Она всем лапшу на уши вешает, что мы и на вечера вместе, и на воскресник: одна семья. Конечно, бывает, мы и вместе идем, но уже не потому, что друг друга любим, а потому, что Ковалюк с Дусей прикажут идти — и идешь, из бригады куда же денешься?»

Галя убеждена, что Люба — человек фальшивый. Лучше от нее держаться подальше.

Такие две точки зрения. Но истина, как ей это и полагается, посередине.

Войдите в двусмысленное положение, в каком Люба живет. Девчонки резонно считают ее причастной к начальству, а значит, это и из-за нее тоже тоска на работе и в общежитии. Люба, как они ее воспринимают, одна из тех, кто устроил им серую жизнь. Но ведь ничего не зависит от бедной Любы, ничего она не решает. Она и комсорг-то лишь по названию. Никаких планов работы отродясь у нее не было. И зачем? Она делает то, что ей Дуся или Ира Стемпковская скажут. А Ира с Дусей делают то, что скажет им Иван Васильевич. Ира ему как инженер подчинена самым прямым подчинением. Подчиняется она также Сергею Николаевичу Чирякову, и не потому только, что он — секретарь комсомольской организации, но прежде всего потому, что он — старший инженер треста. Я с налету, пока этих тонкостей не постиг, спросил было у Иры, защищает ли комсомол права молодых рабочих. Ира пришла в полное замешательство: «Какие же могут быть у нас конфликты общественных работников с руководством, если это одно и то же?»

А теперь скажите мне, чем отличается внешне от хорошего человека — плохой, но знающий назубок правила поведения и им следующий? Вполне возможно, что воспитанная дрянь покажется куда приятней, чем неотесанный бессребреник и добряк. Чтобы вырастить хорошего человека, столько надо вложить в него ума и

сердца, потратить времени и труда, в то время как достаточно дать злодею в руки подробные инструкции по хорошему поведению и до смерти напугать, пообещав расправу, если не выучит. Ведь на вид станет как шелковый. И пусть приезжают проверяющие.

Но если даже злодея можно заставить притвориться ангелом, то, и это простейшая логика подсказывает, есть смысл взяться и за обычных людей — получше, похуже, всяких, — чтобы научились выглядеть жизнерадостными и довольными. Делая при этом не то, что хочется, а то, что надо тресту. А что надо тресту, знает Иван Васильевич и его собственные начальники.

А разве они не хотят родному тресту самого лучшего? Хотят. Все силы на то кладут. Но что делать, если народ у них в подчинении — несознательный, не все еще прониклись? Потому и считает Иван Васильевич: нет сознания у людей — пусть делают хорошее дело несознательно, под страхом или по подсказке. Сегодня заставим, подтолкнем, завтра они же нам спасибо скажут.

И нашу Любу однажды научили, как себя вести. Вначале она все делала не так. Была еще зеленая, только что «выдернулась» из своей деревни. На стройке, правда, кое-чему уже научилась, разряд получила, тут и попала на собрание комсомольского актива. Обсуждали предложение, поступившее из райкома. Комсомолу треста предлагалось выступить в поход за бережливость. Комитет идти в поход соглашался, призвал актив экономить материалы и просил передать рядовым комсомольцам и несоюзной молодежи, чтобы подключались. После этого все встали и начали быстро покидать помещение. Но Люба, которая в ту пору все воспринимала всерьез, а о вещах судила с деревенской основательностью, подошла к сцене и, обращаясь к членам комитета, сказала: «Товарищи! Ведь так у вас ничего не выйдет. То есть мы, конечно, будем экономить, но это ничего не даст, потому что на стройке за это же время в несколько раз больше растрясут. Вот привозят нам

алебастр. Надо три-четыре ведра, а привозят машину, свалят на землю, даже не подстелят ничего, и он пропадает. Смотришь, заровнялось уже все, как и не было горы. Ведь жалко же добро!»

Тут всем стало неловко, действительно, как-то казенно поговорили, второпях. Поэтому все остановились и быстренько поручили Любе что-нибудь предпринять по части экономии алебастра. «Вот тебе первое общественное поручение!» — «Да ведь не только с алебастром так, — поправляла Люба, — и с известью, и с цементом. А на складе что творится!» — «Ну, значит, разберись и со всем остальным», — сказали ей члены комитета комсомола, убегая.

Люба явилась к себе на участок, подошла к прорабу, говорит: «Мы решили бороться за экономию, а на стройплощадке такое творится!» Прораб сначала ничего не понял, а когда понял, начал сильно смеяться. «Вы, — сказал прораб, — решили, вы и экономьте, а я вам за это спасибо скажу».

Что сделала Люба? Она сделала то, на что и способной себя не считала. Она на другой день отправилась в управление и пошла там по инстанциям. К инженеру по экономии материалов пошла, в партком пошла, к управляющему пошла. Несколько дней бежала, едва закончив работу, в управление, чтобы успеть до закрытия. И случилось чудо! Дело решилось, приехал на участок начальник, собрал мастеров и прорабов, на них наорал, и буквально через день рабочие возвели для алебастра навес. На цемент с известью у Любы сил уже не хватило. Но хоть что-то сделалось, утешала она себя.

А активность ее в тот раз заметили. Но это была еще не та, что надо, активность. Это была активность стихийная, такая, что неизвестно куда может человека занести. Ее нужно было кое в чем «подправить».

А тут управлению поручили подготовить не отделанный еще дом для проведения в нем заключительного

этапа межобластного конкурса на звание Лучшего молодого отделочника. Управление устроителям конкурса попеняло: что же это — мы для вас стараемся, а какой нам с этого навар? Давайте уж, как водится, допустите на финал нашего человека. Устроители допустили. Тем более что действительно всегда так делалось.

Кандидатов на представившуюся вакансию найти можно было немало, но вспомнили про Любу. Ее разыскали и сказали: «Давай-ка приходи завтра на конкурс, Иван Васильевич велел». Люба подробностей не спрашивала: надо так надо. Явилась утром, смотрит, а дело-то серьезное. Лучшие мастера, прошедшие несколько отборочных конкурсов, собрались на финише, а она оказалась между ними вроде как «по блату». Испугалась и этого нового для себя положения и разволновалась, потому что предстояло ведь не разговоры говорить, а руками дело делать. Но деваться было уже некуда.

Победа досталась ей на диво легко. И никто не подсуживал, все сама, своими руками. Хитрость была в другом. Специальность отделочника включает в себя две профессии: маляра и штукатура. В ПТУ специальность выпускникам так и обозначают, через черточку: маляр-штукатур. Но на стройках, как правило, одним отделочникам приходится заниматься исключительно покраской, как и нашей Любе, другим лишь штукатурить. Знания у них по обеим профессиям, а навыки — лишь по одной.

Так на конкурс съехались в основном штукатуры. Их-то, чтоб задание вышло посложнее, и решили проверить на малярном деле. Иван Васильевич это знал. Люба не знала. «Я думаю, — сказала мне она сейчас и начала заливаться краской, — надо было так устроить: отделай от начала до конца всю квартиру — и станет видно, что ты за мастер. По справедливости». Но справедливости не было. Определили участникам покрасить дверь да окно. Тут им с Любой и тягаться не стоило.

Слава была отсыпана Любе полной горстью, но в славе был привкус. Иван Васильевич на Любу смотрел лукаво, хвалил громко, она ему сказала: «Спасибо». Вышло — то ли в ответ на похвалы, то ли за что-то еще. Иван Васильевич одобрительно Любу приобнял: «Все правильно, дочка, все сообразила правильно».

О своей победе и о новом звании — ни в общежитии, ни в бригаде Люба рассказывать не стала. Но все равно все о том узнали, и если одни пошептались и посмеялись в кулак, то другие с удовлетворением заговорили о Любиной скромности.

Вот тогда и научилась Люба краснеть. И двинулась вперед жизнь в колее. Жизнь простая. Люба мне так объяснила: «Главное, не думать, а научиться безотказно делать то, что требуют, — и станет легко». Но думать Люба никак разучиться не может. Она и думает. Вроде бы и ценят ее, и любят (хвалят по крайней мере), но не те, кто рядом. Да и любят ли? Или делают вид, потому что Люба для них — «нужный человек»? Вот почему жить ей хоть и просто, но противно. Жизнь выходит как та серая краска, что кладет она на подоконники. Все вроде закрашено, но в том-то и дело, что лишь «вроде». Все у Любы вроде бы складывается хорошо. А счастья нет.

И хочется ей иногда рвануть из колеи на обочину. И страшно. Там, на обочине, счастливей ли жизнь? Знала и она изменивших колее. Но позавидуешь ли им?

КОМУ БЫЛ НУЖЕН ЭТОТ НОВИКОВ?

Несколько лет назад мне положили на стол очередную стопку писем — о подростках. Я вытащил одно, наугад. Вышло письмо от Новикова.

«Здравствуйте, дорогая редакция! Вот решил написать. Мне 27 лет, не женат, учусь заочно в институте, работаю секретарем комсомольской организации управ-

ления Промстрой-3 треста Челябметаллургстрой города Челябинска. Пять лет занимаюсь с подростками, два года полностью на общественных началах руковожу клубом старшеклассников «Алые паруса», то есть руководил. Расскажу подробней.

Клуб находится в подвале, на улице Трудовой, 12, в помещении пионерского клуба имени В. Дубинина при ЖЭКе № 4. Был у нас большой эстрадный оркестр, состоящий из дворовых музыкантов. Каждую субботу проводились вечера отдыха и интересных встреч для старшеклассников и подростков из соседних домов. Каждую среду ребята ходили бесплатно купаться в бассейн. Выезжали мы и за город отдыхать, а также с концертами в подшефные сельские школы. О нашем клубе писали местные газеты, нас показывали по телевидению. Но я больше в клуб не приду.

Расскажу, каких трудов мне стоил этот клуб. Чтобы сменить наглядную агитацию, мне потребовались два года назад весь отпуск и отпускные деньги. Достать краски хорошей было негде, за три рубля брали с рук. Мы хотели в своем клубе сделать все красиво и современно, разрисовать стены, сделать стенды, посвященные жизни нашего треста. Вот нашел я художника, который согласился все оформить, но ему надо было на это 400 рублей. Он разрисовал стены, сделал планшеты и т. д. Но денег нам не дали, сказали, что нет такой статьи, по которой можно выделить средства. Мы с начальником ЖЭКа-4 Николаем Ильиных выложили свои 400 рублей, но клуб оформили.

Я руковожу эстрадным ансамблем, то провода нет, то микрофонов, все достаю где-нибудь, у кого-нибудь, и за все — наличные. И так два года.

Свободного времени у меня, по сути, не было, шесть вечеров в неделю я проводил в клубе. Помощи ни от кого нет, никто не интересуется положением дел.

С искренним уважением,
Николай Новиков»

Уже и несколько лет назад вопрос «что делать?» по такому поводу звучал риторически. Ясно, кого следовало отругать, кого похвалить, что исправить. В парткоме треста Челябметаллургстрой, куда я зашел по приезде, мне пообещали помочь клубу в ремонте.

Да я и не ожидал, что окажется иначе. Именно в те годы забота о подростках и начала становиться в некотором роде хорошим тоном. Актуальным стилем поведения. Вряд ли удалось бы где найти инстанцию или учреждение, которые заявили бы, что им на подростков наплевать. Кстати, без заботы хозяйственных организаций и клуб «Алые паруса» не состоялся бы. На приобретение инструментов для эстрадного ансамбля трест выделил в свое время 1200 рублей. О чем сам Новиков и написал в местной газете: «День, когда поехали получать новые инструменты из магазина, остался праздником в памяти ребят. Представьте себе, что парнишка, дворовый хулиган, получает в руки гитару стоимостью двести рублей!..

Управление треста помогло сменить мебель, выделило телевизор. Каждая новая вещь, привезенная в клуб, вызывала восторг». — «Видите, как было? А в письме он уже пишет, что клубом никто не интересуется. Зачем же это вы, товарищ Новиков, сгущаете краски! Нехорошо.

А что это за заявление! «Я больше в клуб не приду!» Как это, позвольте поинтересоваться? Клуб — это уже не ваше частное дело, дорогой Николай, это дело общее. И мы не позволим!..»

Как же, не позволим, еще как позволили. С тех пор как завезли мебель и дали денег на инструменты, клуб стал и два года был, по сути, сугубо частным делом Николая Новикова, чем-то вроде садового участка, куда хозяин, естественно, и собственные деньги вкладывал не раздумывая, и где все свободное время проводил, правда, в нашем случае, прибыли от того не получая. «Ну да? Уж не говорите! Кто бы это стал тратить вре-

мя и силы на вовсе невыгодное дело! Была какая-то выгода. Наверняка была».

Конечно, была. Новиков возился с пацанами, до чего была смертная его охота. Он получил место для возни и игрушки стоимостью в 1200 рублей, чего еще человеку надо! Он просто неприлично много от клуба получал — сплошное удовольствие. Другое дело, как он ухитрился справиться один! Он бы, наверное, не справился, выдохся, бросил бы все. Но у него была одна особенность. У Новикова было много знакомых.

Я, между прочим, знал одного такого человека. Он однажды поспорил, что, заняв у знакомых по рублю, купит себе цветной телевизор. И, действительно, занял и купил. Новикову такая идея просто не пришла в голову, а не пришла она потому, что своим знакомым он определял иное назначение.

Ну например. В самом еще начале он всячески старался отведенное ему место украсить, пытался сам что-то такое нарисовать, но все получалась такая жалкость и бедность! А был у него знакомый монтажник, работавший на теплоизоляции. Там у них идет на обертку труб замечательный по богатству вида листовой алюминий. Эти листы алюминия с помощью монтажника Новиков и достал, и недорого — в общей сложности вышло 4 рубля 12 копеек. (Дело, как вы понимаете, было задолго до Указа, и стоимость «зеленой и проклятой» была именно такова.) Алюминием он обил стенды. Полюбовавшись на произведенный модерн, Новиков пошагал к знакомому президенту клуба туристов Саше Лебедеву, а от него вышел, таща ворох фотографий из жизни альпинистов.

Альпинисты прикрыли часть стен у входа, и тут Новиков сообразил, отчего происходит бедность: остальные стены голые. А был у него знакомый художник в отставке, который и взялся беде помочь, и на те самые 400 рублей (не себе, на материалы) сделать «наглядную агитацию» плюс разрисовать стены в лучших традициях

жанра. Именно тут Новиков и принялся доставать «настоящие» кисти и краски, чаще всего по цене алюминия.

Художник, давно не привлекавшийся к подобного рода работам, стосковавшийся по масштабным произведениям, вложил в настенные росписи все свое застоявшееся умение, весь сложившийся еще в отдаленные времена вкус. Он изобразил дородных мужчину и женщину, с младенческими улыбками глядящих куда-то вбок, мимо могучих приземистых зданий с надписями: «Кино», «Цирк», «Планетарий». Далее изобразил он парадно одетого мужчину средних лет, в черной шляпе, с лицом, отдаленно напоминающим Фантомаса, с гитарой в руках, в полном одиночестве поющего в лесу у походного костра. Новиков был несколько озадачен, увидев загадочного певца, однако художник быстро и популярно объяснил ему, что именно так оформляются настоящие клубы, чем несколько его поуспокоил. А подростки вообще отнеслись к могучим фрескам хладнокровно, воспринимая их лишь как фон, оживляющий стены, тем более, что совсем не ради того собирались они сюда.

Собирались же они прежде всего слушать музыку, а еще прежде учиться ее играть в ансамбле под управлением Николая Новикова. Когда-то, еще школьником, Новиков целую зиму ходил в Дом пионеров, где его слегка научили играть на пианино, нотам, правда, не успели. И хотя на новокупленных инструментах он, естественно, играть не умел вовсе, тем не менее, как в свое время Наполеон, полагал, что главное — ввязаться в драку. И что же? Оркестр под управлением Новикова состоялся и пользовался у посетителей клуба успехом огромным.

Как так? А очень просто. Новиков пошастал по подъездам и извлек оттуда самых неутомимых ночных певцов и гитаристов (уже этим актом снискав признательность и признание со стороны жителей окрестных домов, истосковавшихся по ночной тишине). Кроме того, как

уже несложно догадаться, был у Новикова один знакомый, такой Ридель Владимир Викторович, вообще-то мастер ГПТУ № 37, но одновременно руководитель тамошнего вокально-инструментального ансамбля, которого Новиков и заманил однажды в клуб, где тому ничего не оставалось, как показать кое-что будущим кумирам публики, так сказать, на живом примере.

Молодому человеку из болельщиков, обнаружившему тропический темперамент, едва раздались первые нестройные попытки ансамбля извлечь из инструментов нечто музыкальное, Новиков предложил ударную установку. Молодой человек, которого звали Толик Шевелкин, вспотев от волнения, принялся колотить в барабаны с неимоверным усердием и ужасающей силой. При таком прилежании он должен был моментально освоить новое дело, тем более что специально приведенный Новиковым его знакомый ударник Саша показал Толику, как держать палочки и что ими делать, но всякий раз, как доходил Толик до одного колена, пластик на большом барабане лопался под его ударами со страшным треском. Новиков вставал, вздыхал, уходил и через некоторое время возвращался с новым пластиком.

А был у него знакомый Толя Абабкин, у которого были знакомые, работавшие на предприятии, где они могли достать нужную для барабана пленку.

Но и эта возможность однажды исчерпалась, и тогда Новиков приказал истребителю барабанов отправляться домой и там тренироваться на кастрюлях до тех пор, пока не станет безопасен. В результате первый состав оркестра через некоторое время получил ударника, которым все остались довольны, тем более что за время его отсутствия Новиков «во избежание» достал и поставил на большой барабан кожу, которая пластика значительно прочней.

На этом этапе клуб показали по телевидению, а буквально на следующий день Новикову позвонили из управления и сказали: «У нас тут стоит старенькое пиа-

нино. Забирайте». И ансамбль во главе с руководителем помчался большими шагами, на руках пианино со второго этажа стащили, Новиков свистнул ближайшую машину, шофер которой оказался его знакомым еще по совместной работе в такси, и пианино было доставлено в клуб.

Тут и появился застенчивый мальчик Вадик Поляков, который умел играть на рояле, знал ноты и мог бы стать опорой всему ансамблю. Но пианино его не воодушевило, оно оказалось расстроенным безнадежно, и в том, что его можно будет когда-нибудь починить, Вадик сильно усомнился. Но мальчик Вадик не знал, с кем он имеет дело.

Был у Новикова давний знакомый, настройщик роялей Сергей Ефимович Соколов. Он-то и взялся за инструмент. Он его ремонтировал, настраивал и снова ремонтировал. В результате всего у ансамбля появились пианино и пианист. Исполнять стали не шлягеры, а те песни, что пели ребята в школах чаще всего: про уроки, обиды, первую любовь. Успех был обеспечен.

Сам же Новиков прочно занял место у аппаратуры, и теперь во время выступлений можно было видеть руководителя, восседающего в ногах своего оркестра, опутанного проводами и безмерно довольного.

Новикова беспокоило, как бы приемы гостей в пустом зале не превратились в стандартные танцы. Гостей надо было на что-то усадить. Но если доставать мебель, так уж что-нибудь этакое, а был у Новикова на химфармзаводе знакомый мастер. Он его и свел с нужными людьми, а те за бесплатно нарезали Новикову пластмассовых крышек для столиков, да еще отхватили добрый рулон пленки для покрытия и дали клея БФ. Такая экономия средств сбила все строгие финансовые расчеты Новикова, на радостях он совершенно распоясался и решил: раз такое дело, будем ставить у каждого столика еще и свечи! Чашечки для подсвечников сделал один из его музыкантов, который, учась в ПТУ,

проходил в это время на заводе практику. Осталось изготовить под чашечки стояки.

Новиков отправился к своему знакомому Васе Давыдову, секретарю комсомольской организации копрового цеха, вдвоем пришли в слесарку. Слесарь ломаться не стал: четыре двенадцать — и все дела! Но вдруг заинтересовался: зачем столько стояков? Новиков рассказал. Слесарь даже плюнул от обиды: «Тьфу! Что ж ты сразу не сказал!» И не взял в уплату ничего. «Как все-таки много хороших людей!» — поделился со мной Новиков своим наблюдением.

Гости являлись регулярно. Иногда вместе с родителями. Они слушали музыку, танцевали, общались с приглашаемыми Новиковым интересными людьми. А он зазывал в клуб своих знакомых из милиции, дружбу с которыми свел, будучи несколько лет подряд внештатным сотрудником детской комнаты. Учителей, которых узнал, работая в свое время воспитателем в школе-интернате № 6, журналистов (иногда он писал в местные газеты и даже проучился пару лет на факультете журналистики в Свердловске), однажды притащил солдата, прибывшего на побывку, и в клубе тот смог повидать всех своих знакомых, показать себя и рассказать подросткам кое-что о новой своей жизни. И так далее.

Не достаточно ли? Нет. Новикову и этого было мало. Он мечтал, чтобы клуб его искоренял преступность, а не только вел такую вот почти «растительную» жизнь. Более всего хотелось Новикову, чтобы все собиравшиеся друг с другом перезнакомились, причем не шапочно: привет-привет! Для него было очевидным, что грубость, так же как и рукоприкладство, и многие прочие правонарушения, подростки чаще всего считают позволительными лишь по отношению к людям незнакомым, чужакам. Не случайно же самым сильным доводом в пользу готового вот-вот стать потерпевшей стороной человека всегда были слова кого-либо из «своих»: «Спокойно, ре-

бята, я его знаю». Значит, и эта простейшая логика подсказывала: грубость и следующие за ней правонарушения станут невозможны, если вокруг образуются одни знакомые. Отсюда и задача клуба ясна как дважды два: надо всех подростков перезнакомить.

Но как их подтолкнуть к нешапочному знакомству? А был у Новикова знакомый — Новицкий Геннадий Николаевич, директор Центрального клуба Челябметаллургстроя, у него он и попросил совета. Геннадий Николаевич подумал и сказал Новикову, что нужна ему методика. Тут же набрал номер института культуры и попросил такую методику прислать. Однако из института отвечали, что «методик проведения вечеров для старшеклассников не существует, что никто и никогда не занимался в централизованном порядке и с целью выработки рекомендаций организацией общения среди подростков, существует, конечно, личный опыт педагогов, но он настолько индивидуален в каждом случае, что на нынешнем этапе научного развития обобщению не поддается, вот имеются методики для младших школьников, не желаете?» Это Новикова не устроило: два притопа, три прихлопа его «клубменам»? Тогда рассердился уже Новицкий Геннадий Николаевич. Он позвал еще одного работника Центрального клуба, Денисову Галину Владимировну, и вот они втроем сели и вскоре что-то такое примерное для Новикова сочинили.

И он провел вечер поэзии, на котором не было поэтов-профессионалов, но где стихи сочиняли все присутствующие. Общие попытки слагать стихи привели просто к разговору о поэзии. И довольно стихийному, поскольку сам Новиков к такому разговору не был готов и поддержать его не мог. Он понял, конечно, что теперь может спокойно приглашать в клуб специалиста и тот будет ребятам уже интересен, но расстроился, поскольку явно обнаружил собственную некомпетентность.

Боялся я уже и тогда, когда о Новикове писал, что

он многих читающих покоробит. Действительно, выходил хозяйственник какой-то, а не воспитатель. Чему он детей научит? Доставать какую-то пленку за четыре двенадцать? Вообще к этим самодеятельным воспитателям, а развелось их в то время уже много, так и тянуло под определенным углом присмотреться. Во-первых, совершенно очевидно, что большинство из них носителями высокой культуры, про вкус уж не станем говорить, отнюдь не являлось. Во-вторых, странная вещь, и это все замечали: опыт даже лучших из них невозможно было сделать общим достоянием, невозможно распространить. Сколько попыток ни делалось — все потерпели провал. Так может, опыта и нет никакого, раз его нельзя передать другим? А?

Да, конечно, чего у них не отнимешь — это бескорыстия, какой-то даже яростной привязанности к детям, вон они как кидаются за своих подопечных на всякого! И Новиков не исключение. Когда он, став воспитателем в интернате № 6, увидел там просто-напросто отсутствие самой примитивной материальной заботы о детях — их кормили плохо, одевали плохо, им играть было нечем, они сидели на голом полу и играли в камушки, забитые, запуганные, прячущие глаза, взрослых боящиеся всех подряд, убегающие, чтоб добыть пропитание на стороне, — так Новиков просто затрясся. Вначале он их пытался кормить из собственных средств, потом начал жаловаться, был за это предупрежден теми, кому жаловался. И тогда он написал в Москву, и приехала комиссия, и сняли директора и еще кое-кого, и дело наладилось, но, впрочем, это совсем другая история...

Да, этого у них не отнимешь, соглашались со мной, спасибо им за это, но, дорогой товарищ, помимо жизни материальной, приземленной, есть же духовная, она главная, о ней надо печься в первую очередь. Мы все сейчас обеспокоены ранним меркантилизмом детей, их равнодушием ко всему, кроме тряпок, гитар, мотоцик-

лов. А куда, простите, ведут их такие воспитатели, как Новиков? В те ли руки попадают наши дети? Те ли люди занимаются их воспитанием? Зачем нам этот Новиков?

Нет, товарищи, вам Новикова я отдать не мог. Конечно, замечательно, чтоб плюс ко всему он оказался еще и выдающимся педагогом. Но, уважаемые граждане, всегда знающие, как надо правильно воспитывать детей, среди вас-то много выдающихся педагогов? И потом, удивительное дело, непосредственные результаты «неправильной» деятельности Новикова, обратите-ка внимание, всех удовлетворяли: преступность падала, дети при деле. Раздражало же, что льнут они не к деятелю искусств, а к «грубому материалисту», к «оборотистому человеку», который ко всему еще и занимался с ними «в порядке частной инициативы».

Вот где стоило задержаться, чтобы попытаться понять, в чем секрет новиковского обаяния. Это то, что никого не интересовало, поскольку все внимание сосредоточено было на результатах. А не интересовало зря. Вот читаю сейчас выдержку из очерка о Новикове, напечатанного в местной газете: «Забияк, поздних обитателей подъездов и подвалов, тех, кто не раз уже «по душам» беседовал с милиционером, Николай покоряет, как привораживает. Скажет: «Дайте, я с ним поговорю», — словно знает какой-то загадочный язык. Глядишь, уже ходит за ним парень как привязанный, слушает его раскрыв рот. О чем Николай говорит с ними, никому хорошенько не ведомо. Всех покоряет результат. О чем бы ни шел разговор, важно, что есть толк».

Вот и сказано. Важен был лишь толк. Да ведь выходит-то он отнюдь не из любого разговора. Как же можно так совсем и не поинтересоваться, о чем «шел разговор»? А это ключ ко всему. Новиков действительно знал «какой-то загадочный язык». Это язык понятий, которые всем очевидны, но взрослым слишком часто

неинтересны, для подростков же представляют интерес первостепенный.

Я до сих пор подозреваю, что мы почти всегда обращаемся к подростку с вещами, важными только нам, поскольку мы забыли, даже постарались забыть поскорее о том, что остро, болезненно волновало нас в 15—16 лет, когда тело наше перерастало силу, когда руки и ноги сами совершали нелепые движения, когда кожа на лице нашем была нечиста, а брюки висели сзади мешочком, и это было невыносимо стыдно, но взрослым казалось смешным, да и не поверили бы они никогда, что способны такие пустяки огорчить человека. А еще были девочки, на которых мы не могли уже смотреть прямо, а смотреть хотелось, отчего выражение лиц наших приобретало особо истощенный характер, бегали наши глаза или, напротив, становились как оловянные пуговицы. И даже со сверстниками нельзя было об этом поговорить, поскольку каждому было ясно, что только с ним, единственным в мире, происходит такое.

А Новиков с ними об этом говорил. Он их спасал от отчаяния, и доверие к нему со стороны мальчишек было потому безгранично. Однажды несколько дней держал у себя Новиков мальчишку, который в один из дней обнаружил, что не смеет выйти на улицу, поскольку кожа на его лице сплошь покрылась прыщами. Новиков лечил его, он его смазывал, делал ему паровые ванны и яичные маски, присыпал присыпкой, утром отмывал и снова принимался за процедуры. Но самое главное — он научил мальчишку следить за своей кожей и, что еще важнее, научил его этого не стыдиться. Я думаю, за то, что он спас мальчишку от комплекса неполноценности, пусть на пустячной почве, тот, и став взрослым, остался ему благодарен.

Откуда он узнал, что надо делать с кожей? Ну, это догадаться нетрудно. Конечно же, был у Новикова знакомый косметолог — Вера Федоровна Лесниченко, к которой он в особо трудных случаях, когда не мог спра-

виться сам, посылал и своих ребят. Особенно важно это было мальчишкам из ПТУ. У них — работа, значит, обязательно грязь, значит, чаще, чем у школьников, не в порядке лицо. Что получается? Часто с точки зрения подростка: чуть ли не первый и явный признак рабочего человека, даже того, кто только приобщается к рабочим, — дурная кожа. Некрасивость. Не по этой ли, такой смешной и незначащей причине порой отказываются подростки, никому, естественно, о мотиве не рассказывая, идти в ПТУ, на завод?

У Новикова красивые волосы. И однажды его знакомый — парикмахер сделал ему прическу для конкурса. Новиков попробовал делать такую сам, купил фен. А потом принялся делать прически всем своим мальчишкам. Глупость? А если они носят длинные волосы, которые локонами вырастают далеко не у каждого, у большинства свисают жалкими патлами? А они все равно носят?

До сих пор существует сложившийся и утвердившийся в совсем отдаленные времена трафарет мальчишеского кумира. Благотворное воздействие старшего видится в самом его присутствии вблизи мальчишки. Предполагается, что раз мальчишке положено искать себе образец для подражания, то он охотно обратит свои чувства на любого взрослого, которому будет не лень до него снизойти. Оттого в наставники некогда и назначали, было такое поветрие. Отчего взрослые так уверены, что любые их поучения подросток станет выслушивать как истину в последней инстанции? Новиков был убежден, что подросток не готовится к взрослой жизни, как нам это представляется, но уже живет ею. И имеет собственное мнение по большинству вещей. Не каждого станет он слушать.

Мальчишки Новикову не подражали. Они ему доверяли. В результате чего он и делал с ними вещи, которые не всякому дадутся. Он работал на опорном пункте, а милиция разыскивала одного мальчишку, который угонял мопеды, велосипеды, а теперь явно прятался

где-то поблизости. Новиков возвращался домой и увидел его на детской площадке. Тот вскочил. Новиков: «Не торопись, я же за тобой не гонюсь». Тот: «Поймаешь». Новиков: «Не стану я тебя ловить, я бы с тобой поговорил». И сел. Предложил: «Садись». Мальчишка знал, что такое Новиков, потому рядом сел. Поговорили.

Прятался он в интернатских парниках, спал там на халате, еду ему приносила девочка-соседка. Стал мальчишка переобуваться, жара стояла в те дни, а был он в сапогах, и, когда снял их, увидел Новиков, что носки его на подошвах сгнили, а сами подошвы сопрели и облупились, как молодая картошка. И грязен был мальчишка неимоверно. Об этом ему Новиков и сказал. И еще говорили они о том, что даже после спецшколы, если начнет нормально жить, останется у него на все про все уйма времени, если же продолжит свои бега — дальше отодвинется эта будущая нормальная жизнь, потому что ведь поймают все равно. Он говорил, переживая за мальчишку страшно, он за него перебирал варианты, негодные отбрасывал, доказывал верный. И сказал наконец: «Пойдем пока домой, вымоешься, а завтра, если надумаешь, придешь в милицию сам». И они пошли. Соседи, увидев мальчишку, бросились его бить — он и нас обворовал! Новиков его заслонил, а поздно вечером позвонил в милицию: нашелся беглец, завтра придет сдаваться. В ответ услышал: «И ты его отпустил! Ну, знаешь, тебя надо самого судить за укрывательство!» Новиков повесил трубку. Утром парень явился в отделение.

Вернемся к грубому материализму Новикова. У него была тьма «материальных» идей. Идея создать в конце парка, на пустыре, полигон, где мальчишки могли бы испытывать модели самолетов и карты, которые сейчас они собирают в клубе юных техников, но вынести их из клуба для испытаний не могут, там дебри непролазные, и вот они снова их разбирают, вытаскивают через

окно, потом собирают и испытывают прямо под окнами, наводя панику на жильцов дома. Новиков помог клубу составить бумагу в штаб ударной комсомольской стройки, который может в этом клубу помочь. К бумаге он приложил рабочий эскиз будущего полигона. Еще идея — создать спортивно-игровой комплекс в микрорайоне. Был, помню, и макет, который Новиков держал в клубе, но домики на нем уже покривились, отваливались проволочки и планочки, макету было много месяцев. Еще идея — отнять у общепита ремонтируемое кафе «Нептун», прибежище алкоголиков, и сделать — вот в этом месте Новиков начинал сопеть, таинственно улыбаться — кафе для детей. Прямо так и написать.

Эта идея его грела особенно, он с ней всем уже надоел, поскольку боялся: закончится ремонт «Нептуна» — и идее каюк. Ходил он и в трест, и в райком комсомола, и в райисполком. В райисполкоме схлестнулся с директором Металлургпрома, торговым человеком, который популярно объяснил Новикову, в чем порочность его идеи: она невыгодна!

Новиков даже засмеялся. «У вас да, — сказал он директору. — У вас она будет невыгодна. А у меня будет выгодна!»

— Эх! — сказал мне Новиков. — Сделали бы меня директором такого кафе, и спорить бы не пришлось!

Но никто не сделал его директором кафе, сама идея которого была спорна. Еще он планировал переоборудовать весь свой клуб, если помощь, которую обещали ему, состоится, и устроить в нем дискотеку. Эскизы уже были. Цветомузыка. Пол должен быть прозрачным, чтоб можно было и его подсвечивать, создавая эффекты. Нужен прозрачный пластик. Но был у Новикова один знакомый...

«Кому нужен блестящий организатор с «невыгодными» идеями, отзовитесь!» — спрашивал я тогда, заканчивая очерк о Новикове. Никто не отозвался.

А был Новиков одним из первых «неформалов».

Именно на обочине, вне колеи, пытался он делать дело и реализовать себя.

Не выходило, вызывал раздражение почти аллергическое у целого ряда людей. Помню письмо некой учительницы из Липецка, почему-то анонимное! «Я уже восемь лет работаю в школе, с работой справляюсь, результаты труда часто приносят мне чувство удовлетворения, но за мной, как за Новиковым, дети по пятам не ходят, и не со всеми я могу прийти к взаимопониманию. И уж конечно, мне и в голову не приходило устраивать на общественных началах и вообще на каких-либо началах дворовый клуб, бегать по предприятиям, выбивать палки-балки. Тем более что я женщина, мне неудобно предлагать или распивать поллитру».

Откуда же эта всеобщая тяга — в колею? Не изначально ли, не с самого ли детства возникает она в человеке? Не со школы ли еще, которая все силы кладет на воссоздание примерных и тихих детей? Таких, чтоб носа не высовывали из колеи, чтобы, упаси бог, не осмелились даже взглянуть по сторонам, узнать: что там, за рамками правил?

Помню, как в подвале, где устроился детский клуб «Каравелла», создатель его, писатель Владислав Крапивин мне говорил:

— О чем никогда не задумываются в школах, так это о воспитании у ребят элементарной смелости, той самой, что необходима и в стычке с хулиганами, и в сложных нравственных ситуациях, когда надо открыто заявить о взглядах и отстаивать свою позицию.

Мне кажется, что некоторые педагоги не стремятся заниматься воспитанием смелости просто из опасения, что это рано или поздно обернется против них самих. Потому что любой наставник, естественно, не всегда бывает прав. Но если умный педагог любит, когда с ним спорит ученик, считает это нормой, то неумный

расценивает спор с ним как подрыв всей воспитательной системы.

Взрослый обращается к малолетнему спорщику с классической фразой: «Мал еще рассуждать!» Представьте, если мы станем внушать каждому человеку вплоть до 16—18 лет, что он «мал еще», какого вырастим из него взрослого? Это будет взрослый не просто не наученный, но отученный размышлять.

Без чувства собственного достоинства личность не может быть полноценной. Однако выработке этого чувства особого значения не придается. И устно, и письменно всюду внушается: младшие должны уважать старших. И нигде не услышишь о том, что старшие тоже должны уважать младших.

Летом мы почти ежедневно ездили на лодочную станцию, там наши яхты. Примерно раз 60 за лето. И я специально подсчитал: лишь четыре рейса прошли у нас без инцидентов. Лишь четыре раза на детей никто не наорал, никто их не «ставил на место», прогоняя с мест в троллейбусе.

Никому никогда не приходит в голову пропустить детей при посадке вперед. Сплоченный клин дядей с бицепсами лезет в двери, всех отшвыривая. Ребята входят последними. А если где-то и останется свободное место и кто-то из ребят на него сядет, непременно найдется один из бугаев и его скинет. Один из тех, кто только что швырял и женщин, и стариков, требует теперь себе место у ребенка. По праву старшего. Старший всегда прав, у него все привилегии. Меня всегда возмущает дикое несоответствие между бесконечными нотациями о необходимости уважать старших и поведением самих моралистов.

У взрослых есть один потрясающий довод. Когда заходит речь об уважении к школьнику, следует выпад: пусть он сначала заслужит это уважение, то есть пусть сначала начнет учиться без двоек, примерно себя вести и т. п. Довод беспроигрышный, у любого почти школь-

ника найдутся огрехи. И почему-то не приходит читающему мораль в голову простое соображение, что личность надо уважать вообще, потому что это человек.

Теперь прикиньте, что получается. От детей изо дня в день требуют уважать людей, которые сами их не уважают. Перед ребенком возникает альтернатива: или же фальшивить и подделываться под эти требования, и тогда от него отстанут, к нему не будет претензий, или же — вести себя естественно и, следовательно, нажить неприятности. Отсюда два типа детского поведения. Одни тихо соглашаются, другие лезут на рожон, встают на дыбы.

В первых (соглашателях) подавлено самоуважение. Но это, заметьте, никого не беспокоит. А вот поведение вторых расценивается иными педагогами как некая «социальная опасность». Оно «неудобно», оно осложняет жизнь, вызывает у наставника неуверенность в собственных силах.

С первого класса детей учат двум вещам: не получать двоек (или троек, или четверок — в общем, хорошо учиться) и примерно себя вести, то есть слушаться старших, без пререканий. Выполняя эти два требования, любой мальчишка и любая девчонка могут рассчитывать на спокойную жизнь.

«Опасности» же причина — сами воспитатели. Они ее породили, поскольку не учили ребят спорить. А те растут и пытаются научиться этому самостоятельно. Это естественное проявление жизненных сил. Пока они маленькие, спорить боятся. Годам к 13—14 страх исчезает. Начинается пресловутый переходный возраст, главная примета которого — отсутствие страха перед взрослыми, перед папой, проверяющим дневник, перед учителем, который в дневник этот пишет для папы — за что сына ругать. И порой получается: двоек уже полно, записей в дневнике тоже, и мальчишке уже терять нече-

го. И тут исчезает страх. Мальчишка — свободен для протеста. По поводу чего угодно.

Но вовремя не выработал в нем никто правильных способов протеста, он не умеет со взрослыми толково говорить, не может им ничего объяснить, он с ними приучен мямлить. Он не умеет доказывать свою точку зрения, не умеет спорить, **не оскорбляя других.**

Его не научили быть человечным и не привили гражданских качеств. Нет, ему рассказывали, конечно, о боевых и трудовых подвигах, но его учили слушать о героях, а не действовать. Не учили бороться. Такие вещи, как товарищество, протест против хамства, неуважения к личности, отстаивание собственного достоинства, — для него за семью печатями. Мальчишку **учили послушанию.** То есть, не вдумываясь, поддерживать любые действия старших.

Удивительно! Классический пример для ребят — тимуровцы, в устах нравоборцев предстают сейчас этакими чистенькими мальчиками, смысл жизни которых — помогать старушкам.

Из Тимура сделали плакатного мальчика, отвечающего всем прописным идеалам. В одном журнале я прочитал как-то, вот, мол, смотрите: Гайдар вывел идеального героя, который уважает старших, любит свою маму и т. п. А о любви к маме в книге, кстати, вообще ничего нет. Тимур — характер глубокий, противоречивый, драматический. Он не побоялся противопоставить себя уличным традициям, где царила сила. Он и взрослым себя противопоставлял! Какое уж тут послушание! Он шел и в самую настоящую драку, шел первым. А ведь это ужасно — драка! Он и командиром был порой жестоким, и жилось ему несладко. А у нас его образ выхолощен. Осталась помощь старушкам. Да и все движение тимуровское превратилось чуть ли не в фирму бытовых услуг. Выпало главное: непримиримость, бескомпромиссность мальчишек, самоутверждение их в отряде, мужание. Я не знаю, как осмеливаются ссылаться на

эту книжку люди, проповедующие всеобщее послушание. Им прежде надо бы запретить детям ее читать. Ведь мальчишки откроют книжку и увидят, что в речах моралистов — все вранье!

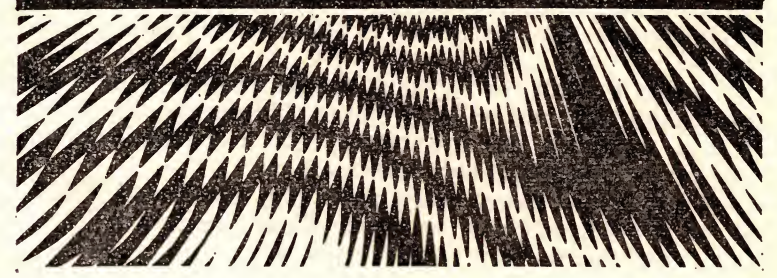
Кстати, о драках. Был ли случай, чтобы в школе кому-нибудь снизили оценку по поведению за трусость? Не за драку, а за то, что, увидев драку, спрятался за угол? Не уверен. Потому что оценка идет за то, что человек не поднимает шума. Чем меньше шума, тем выше оценка. Тот, кто прячется за угол, — шума не поднимает. Детей учат уходить от драк. Но если порой драться необходимо? Как тогда?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БЫТЬ ИЛИ КАЗАТЬСЯ





ЖИЛ ВЫСОКИЙ ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Вот письмо:

«Жизнь превратилась для меня в пытку. Я трус.

Я не люблю и боюсь драться. Всегда не любил. И когда попадал в такие ситуации, мысль у меня всегда была одна — убежать, скрыться. А ведь в жизни надо уметь стоять за себя. Без этого никто не будет считать тебя за человека.

Но есть люди, которые, чуть что, демонстрируют мускулы. Перед ними я чувствую себя беспомощным, жалким. И боюсь встречи с ними.

Я боюсь познакомиться с девушкой. Ведь вдруг ее у меня попытаются «отбить». Или захотят обидеть. Тогда мне придется стоять не только за себя, но и за нее. И я не знакомлюсь...

У меня нет друзей. Мне страшно вступать в близкие отношения с людьми, потому что друг, узнав, что я трус, начнет меня презирать. И потом, все люди вокруг меня нормальные, сильные. Зачем им общество такого, как я?

Читаю в книжках о людях мужественных и не нахожу ответа, как они стали такими. Наверное, это врожденное качество. И, сравнивая себя с этими людьми, еще острее чувствую свое ничтожество.

Я бы пошел заниматься в секцию самбо или бокса, но не уверен, возьмут ли меня. Ведь там нужно обладать качествами, которых у меня нет. Мне, например, очень трудно преодолеть в себе этот порог — ударить, причинить боль другому человеку.

Друзья, любовь, самоуважение — всего этого я ли-

шен. И мне все время кажется, что вот сейчас кто-нибудь повернется и укажет на меня пальцем: смотрите — вот трус, он не может преодолеть свой страх.

Я чувствую себя неполноценным человеком. Что же, так и существовать?

Владимир Н., 23 года».

Вот ситуация. Начинается жизнь, а человек трус. Таким он вырос. Что делать? Давайте рассуждать.

Порою, для того чтобы правильно ответить на вопрос, надо прежде понять — с чего это задал его человек? Что происходит с ним и для чего ему ответ? Слишком часто, «диагностируя» ситуацию, в которую попал, склонен он удовлетвориться первой же пришедшей на ум и наиболее очевидной причиной ее. Но доказывает ли очевидность, что причина — истинна?

Владимир Н. обратился в редакцию, значит, ждет, что и редакция и читатели проникнутся сочувствием и примутся давать советы, тем более что и причину душевных терзаний он им подсказал.

Сначала откликнулся испытатель парашютов, мужественный человек Вячеслав Лихтман, он подробно и убедительно рассказывал, как можно и должно преодолеть в себе трусость, рассказывал о сильных людях, преодолевших страх, в общем, примерно то, что в подобных случаях и полагается говорить в утешение. Затем к разговору присоединились другие читатели. За редким исключением и они знали, что надлежит делать бедному Владимиру, и делились с ним рецептами храбрости. Я не привожу рецептов, поскольку, надеюсь, вы не раз уже читали их или слышали от педагогов.

Однако все это сильно напоминало лишь картину поисков средства от приступа головной боли: одни предлагают таблетки, другие — массаж, третьи — глубоко подышать, чаще всего то, что когда-то помогло им самим. Скорее всего что-то из предлагаемого приступ уймет. Но исцелит ли от головной боли навсегда?

Некоторым читателям и почудилась в происходящем какая-то неправильность. Их смутила самая категоричность в определении причины, им показалось, что Владимир Н. лишку на себя наговаривает. Какой же он трус, когда он просто очень даже смелый. «Да ведь ты же второй Маресьев!» — втолковывала ему, например, Надежда Г. семнадцати лет, резонно рассудив, что столь «редкое по откровенности письмо» требует от человека изрядного мужества.

Вроде бы убедительно. Но вот вспоминается мне один школьный приятель, который, будучи еще совсем юн и лишь начиная жить, изобрел универсальное и неотразимое объяснение любому своему не очень красивому поступку, точнее, проступку. Да и не объяснение — оправдание. Совершив что-нибудь пакостное и будучи уличен, он только разводил руками и смущенно, а позже и все более нахально улыбаясь, соглашался еще до возможных обвинений и санкций: «Да, я дрянь, дрянь, дрянь! Сам понимаю. Ну и что же делать-то мне теперь!» И упреки замирали на губах, кается ведь человек, сам переживает, что дрянь. Мы и сказать ему о том не успели. И карающая десница, занесенная над непутевой его головой, так на нее и не опускалась.

Встречное, опережающее публичное раскаяние всегда было мощным средством самозащиты. А не самозащищается ли и наш Владимир Н.? И от себя самого тоже? Нашел объяснение и спрятался, как в норку.

А тогда я не стал бы столь уж однозначно радоваться смелости его признания в собственной слабости. И не относил бы его к свидетельствам мужества. К чему же тогда его относить? А вот вчитаемся в письмо — так ли уж хочет наш Владимир избавиться от вышеназванного порока? «Я бы пошел заниматься в секцию самбо или бокса, — размышляет он, — но там нужно обладать качествами, которых у меня нет. Мне, например,

очень трудно преодолеть в себе этот порог — ударить, причинить боль другому человеку». Здесь речь-то разве о трусости? Впрочем, многие читатели и за этим уточнением увидели лишь стремление научиться «преодолевать порог». Один молодой человек, просивший фамилии его не называть, дает Владимиру советы, исходя из собственного опыта поведения в ситуациях, требующих или допускающих употребление кулака. Он вспоминает, что раньше и сам «не мог ударить человека по лицу», хотя, и это существенно, «ниже — мог», а уж когда позанимался самбо и боксом — научился, хоть и с некоторым допущением: «если предстоит бить кулаком, то лучше ударю по верхушке головы — «молотом».

Но вряд ли удастся научить Владимира бить кого-нибудь даже и «по верхушке головы», не случайно упирает он на то, что нужными для битья качествами не обладает, поскольку в принципе не может «причинить боль другому». Любую боль, а не только по голове. Не хочет он превращаться в человека, который «чуть что, демонстрирует мускулы», несмотря даже на то, что, оказавшись перед такими, «я чувствую себя беспомощным, жалким. И боюсь встречи с ними». Несмотря. Черным по белому. И скажу честно, эта «слабость» Владимира Н. мне импонирует. Куда хуже, если бы он как раз испытывал острое желание обрасти «мускулатурой».

Кстати, силач, борец, боксер не боится рукопашной вовсе не потому, что храбрец, а потому, что это его стихия, он здесь мастер. И заведомо знает, что превосходит любого противника без специальной подготовки. И стремление овладеть искусством рукопашной никакого отношения к выработке в себе смелости не имеет. Поскольку техника смелости не рождает, она рождает ощущение безопасности, а это, согласитесь, нечто совсем иное. В условиях физической безопасности выглядеть храбрецом — дело нехитрое. А вот если ты про-

тивника не превосходишь, если даже уступаешь ему и числом и умением, ну-ка! Вот где смелость.

Стремление уберечь тело от травмы, от боли, от расправы, насилия — инстинкт биологический. Он каждому дан от рождения. Он и у любого специалиста по драке точно такой же, как у нас с вами. Просто специалисту значительно меньше выпадает на долю поводов слышать трепещущий голос этого инстинкта. И у испытателей парашютов — тоже своя техника. Пусть не обидятся на меня испытатели, регулярно прыгающие с парашютом, который отказывает в самый неожиданный момент, а я уверен, не обидятся, но их труд требует не более смелости, а скорее даже менее, нежели необходимо ее человеку, оказавшемуся один на один с вооруженным бандитом.

Не техника — гарантия от трусости. А что?

Знаю одного человека, весьма уже пожилого, фронтовика. Он попал однажды в такую вот заварушку в темном переулке. К слову замечу, неприятность этих ситуаций не в том даже, что могут убить или деньги отнимут — это как раз исключение. Правило же — унизят безнаказанно, поизмываются, в душу наплюют. Что деньги, в конце-то концов! А унижение долго будешь носить в себе, на щеках своих, как пощечину. Вот что доводит до истерии и прочих нервных расстройств.

Поизмываться-то и приблизились к моему знакомому пять лбов, заранее уже глумливо похохатывая. Последовала коротенькая прикидка для нащупывания слабых мест: они вам воротничок поправят, очки снимут и на них подышат, обнимут, погладят по лицу, все в ожидании первого приступа, этой дрожи омерзения, этих беспорядочных отталкиваний, и — ах, так ты еще и дерешься, дядя! Вот когда они **от вас,** на них напавшего, начинают обороняться. Но мой знакомый в ответ на «знаки внимания», к нему обращенные, предложил задиравшейся стороне взглянуть на происходящее иначе: «Вижу, ребятки, — сказал он медленно и совершен-

но спокойно, очень хорошо представляю, как он это сделал, — вам хочется порезвиться вполне безопасным способом. Правильно, со всеми не справлюсь. Но одного я возьму. Только одного. И можете меня калечить, можете убивать, живым я его не выпущу. Это обещаю. А теперь давайте!» И совсем уже было собравшиеся повеселиться мальчики удалились, долго еще что-то такое покрикивая, самих себя подогревая, чтобы не обнаруживать, как они струсили.

Забава повернулась к ним весьма опасной стороной. И заработала биология. А она у самого мускулистого ничуть не слабее действует, уж чего-чего, а единой забавы ради пострадать самому ни один такой удалец не согласится.

Так это, может спросить меня Владимир Н., и есть рецепт поведения в таком случае? Можно списывать слова? Только все же сомнительно, что, услышав их, мои противники бросятся врассыпную. Правильно. Потому что текст — это чепуха, суть же — реальность содержащейся в нем угрозы. Боюсь, что слабый человек и самые грозные слова произнесет так, что лишь ускорит расправу над собой. Тут важно не **что**, а **как** произнести. Мой пожилой знакомый так их произнес, что сразу стало ясно: он скорее помрет, чем позволит себя оскорбить. Дело не в словах. Как внешне ни оставайся спокоен человек, боящийся собаки, она все равно на него рявкнет, просто потому, что помимо воли его сам организм, подчиняясь той самой биологии, выбрасывает адреналин, запах которого для собаки — приказ к нападению, поскольку это первый признак драпающего. Это тот «запах труса», который для собаки яснее поведения и слов.

И хулиганы, не обладая собачьим чутьем, прекрасно распознают, чем пахнут самые однозначные слова. Многообразный опыт уличных столкновений подсказывает им истинность говоримого. Тут они великие психологи. И известно, что к человеку, который их не боит-

ся, они практически никогда не пристают, как бы «соблазнительно» он ни выглядел, а если пристают, то мгновенно отстают, поскольку сразу же им становится ясно, что здесь им ничего не светит. Но уж того, кто сдался загодя, едва завидев темные их силуэты в арочном проеме, узнают мгновенно, и начинается травля.

Человек, способный рискнуть жизнью, чтобы сохранить честь, им не по зубам. Он может вовсе не разбираться в рукопашном бою, просто тот самый инстинкт самосохранения подчинен ему так, как и не снилось профессионалу и мастеру. Собственно, для этого он ничего и не предпринимает, за него это делают чуть ли не автоматически его моральные принципы. Страх физической смерти тем сильнее, чем на более низкой стадии нравственного развития находится индивид, и чем более развит человек, тем большую ценность приобретают в его жизни иные страхи. Страх потерять собственное достоинство, «потерять лицо». Страх вольно или невольно предать товарища. И так далее. Им гордость владеет перед лицом тупой и невежественной силы, которой он просто не может позволить себя подавить и превзойти. Он именно скорее погибнет, чем отступит.

А в драке всегда сильнее тот, кто умереть не боится. Это, кстати, прекрасно знают работники милиции, занятые задержанием особо опасных преступников. Бандит, совершивший уже тяжелейшие преступления, на счету которого человеческие жертвы и который не ждет себе, в случае поимки, пощады — зверь самый опасный и страшный. Что же получается: убийца равен по самосознанию человеку, способному рискнуть жизнью ради своих нравственных принципов? Ни в коей мере. Тем более что в столкновении с таким человеком и бандит — отступит. Поскольку дерется страшно, лишь будучи загнан в угол, а когда гибель вовсе не обязательна, и он рисковать собой не станет. Отступит. В то время как человек; боящийся «потерять лицо», — нет.

Он даже заурядную моральную ситуацию, когда никакими физическими страданиями и не пахнет, способен превратить в конфликт, где на карту ставится и жизнь, если речь заходит о насилии над духом.

«Жизнь превратилась для меня в пытку», — пишет Владимир Н. А между тем, такого человека, который не может изменить себе, — и **пытать бесполезно.** Известно, и во время войн это случалось неоднократно, что обладавшего значительной информацией человека, попавшего в руки к врагам, пыткам они, с целью вызнать тайны, не подвергали. Опытные палачи с первого взгляда определяли, что с этим человеком ничего не выйдет. Бесполезно. Пытают людей слабых. И все очень объяснимо — идея, которую несет в себе человек, выше самосохранения, сильнее инстинкта выживания. Человек, которым владеет идея, порой самую жизнь свою делает средством достижения цели. Это наглядно видно, когда такой человек своим телом соединяет разорванный взрывами провод, чтобы связь по нему не прерывалась. Буквальность средства.

Значит, дело за тем, чтобы зародить и вырастить в себе такое вот самосознание, самоуважение. Как? Знаю одного молодого человека, который лет восемнадцати сам пришел к мысли, что именно определенная идея, благородная, естественно, направленная на всеобщее благо, на добро, должна овладеть человеком, ей он должен подчинить жизнь, тут-то все и произойдет. И идею он себе подобрал подходящую. Боксер-перворазрядник, он и спортом занимался потому, что услышал однажды формулу: «Добро должно быть с кулаками» и вознамерился для начала отрастить хорошие кулаки. Став обладателем кулаков, он приступил к насаждению добра в темных закутках и переулках, отыскивая в них притаившихся хулиганов и лично наказывая их. Он вызывал «огонь на себя», подставляясь под начальные издевательства, торопя миг рукопашной, тут-

то он и разворачивал веера своих отточенных комбинаций. Так он в одиночку расправлялся со шпаной, одинокий, беспощадный, непобедимый, пока вдруг не поймал себя даже не на мысли, а на чувстве: ему нравилось избивать. И, значит, он не в мужестве тренировался, а в садизме. И не личность в себе взращивал, а, напротив, затаптывал тот росток будущей личности, который в нем до того было проклюнулся. В нем духовный распад начинался вместо духостроительства. Он вовремя остановился и, рассказывая мне потом об этом периоде своей жизни, называл его болезнью, затмением, от которого излечивался трудно и долго. Это был постыдный период, но суть важно, что он уже это осознал и рассказывать о нем не стеснялся.

Вот и наш Владимир Н. не смельчаком хочет стать. А чего же он хочет? Вот момент решающий в его неудовлетворенности собой. А хочет он того, что, по его мнению, в избытке приобрели люди «с мускулами», приобрели, как он полагает, за свою «смелость». Друзей ему хочется, любимой девушки. Сочувствия, понимания, сопереживания. Хочется быть любимым. Но кажется Владимиру, что слабый человек, такой, как он, этих житейских радостей не то чтобы недостоин, — нет, очень даже достоин, — но — лишен. Потому что, как думается ему, и здесь он абсолютно прав, они, к несчастью, не даются человеку сами по себе, даром, как жизнь, образование, работа. Это вещи дефицитные. Это тот духовный дефицит, для приобретения которого, вернее, в надежде на приобретение которого, весьма часто пускаются люди во все тяжкие. И за дефицитом сугубо материальным в том числе пускаются, за тем фирменным набором, который, как им верится, послужит пропуском в мир, где уже за так получаешь уважение с пониманием, где — не из-под прилавка — раздают счастье.

И кажется лишенному счастья Владимиру, что наглые-то, хищные, умеющие бить других по голове, захо-

дят в этот мир запросто, отворяя дверь пинком, и там хапают, а таким, как он, остаются объедки. Обидно. Не в результате ли таких вот размышлений начинающий жить человек, потолкавшись у жизненного порога и понаблюдав с него за коловращением людским, весьма часто приходит к столь же неутешительному выводу и, с порога же, делает попытку научиться хищному поведению? Не отсюда ли среди нас эти юные саблезубые, нарастившие на детские слабости и тонкокожесть веселый оскал и мощные локти, которыми и расчищают себе дорогу?

Не отсюда ли и еще одна, не столь заметная, разновидность молодых людей, которых увиденное так однажды напугало, что они и ввязываться в него не решились, устроили «замыкание на себя»; как-то так, зажмурившись, живут, а непредприимчивость и невмешательство в вокруг происходящее сделали жизненной философией? Вот такое, например, передо мной меланхолическое письмо:

«Я выпускник Одесского инженерно-строительного института. Сейчас работаю технологом. Мне 26 лет. Никогда не был женат и никогда не буду. Даже при большой возможности и при огромном желании. Только лишь потому, что моя жена другому тоже будет нравиться. Это произошло бы в гостях на вечеринке. Но об этом жена моя мне ничего не сказала бы. Она и слова не молвила бы. Но может так случиться, что моей жене другой тоже будет нравиться, и возможно тот же самый. Тогда, тогда... я останусь при своих интересах. И скажете, что не так? Ведь существует в жизни закон подлости. Он есть в любой области науки, культуры и вообще в обществе. Его можно отнести к философским законам.

Новый год я встречал сам с удовольствием. Когда часы пробили полночь, я открыл шампанское и включил грустную музыку, музыку Поля Мориа. Ее я с детства люблю. И размышлял. А размышлял я о красивых

женщинах, хотя в любовь я давно перестал верить. В. К.».

Это вам уже не страх перед хулиганами. Человек жизни опасается. Причем ему даже и не собственный опыт боязнь эту внушил. Опыта-то нет. И не будет, кстати, потому что он попробовать и то боится. И, может, лишь само обращение в редакцию в какой-то мере показывает, что он где-то не прочь послушать и доказательства иной точки зрения. Не с тем, конечно, чтоб жизнь свою менять, ясно, что дело это непростое и долгое, но чтоб прикинуть хотя бы — теряет ли он что-нибудь, отказавшись от приобретения жизненного опыта.

Письмо Владимира Н. куда определенней. Оно о том, что хочется, но не получается быть счастливым. Да просто — быть. Читатели, отгадавшие несложный этот подтекст, оказались как раз теми самыми людьми, кто, как и сам Владимир, определив однажды, что нет в их жизни счастья, задались резонным вопросом: а почему? Вот они-то давали советы со знанием дела, поскольку каждый в свое время уже поискал ответ. К сожалению, никто в этих поисках не преуспел. И скорее всего потому, что, как и наш Владимир, источник бед видели в каком-нибудь из собственных недостатков. Один из таких «товарищей по несчастью» пишет с тоскою: «Причина моей боли — мой рост». Маленький рост имеется в виду. А вот история его «борьбы» за устранение причины всех бед: «С 20 лет я занимался баскетболом, висел 6 раз в день по 10 минут на перекладине, бегал по 7 км в день и делал по 100 отжиманий от пола. Ежедневно ел морковку. Но мой рост увеличился только на 2 сантиметра». Не удалось устранить «причину». Он попробовал зайти с другого конца: «Я развивался и культурно... Много читал. За это время я прочитал все, что попадалось мне в печати про рост. Некоторые авторы убеждали, что вы (то есть те, у кого маленький рост. — *В. Ч.)* нормальные люди, а прос-

то надо быть такими, как Пушкин, Наполеон и другие, и вас будут любить многие. Но ведь это были гении. А как быть человеку, у которого нет таких способностей?» Логично. К несчастью, наш читатель и на этом пути совершил логическую сдвижку: на всю культуру он смотрел через щелочку своей «беды», искал и находил только то, что «попадалось про рост». Боюсь, что если бы Пушкин с Наполеоном, несмотря на всю свою гениальность, столь же отреченно взялись бы за поиски средств подрасти, вряд ли совершили бы они свои великие дела.

Сейчас нашему читателю уже 30 лет, жизнь он считает разбитой, осталась, правда, надежда найти в книгах если уж не средство подрасти, то хотя бы способы нравиться людям без того: «Я думаю, — пишет он с верой, которую пытается внушить и Владимиру Н., — что у нас все же занимаются этой проблемой и есть разработки, как и чем понравиться человеку. Думаю, это нужно не только мне, а и многим другим. Это крылья для преодоления барьера».

Итак, осталась надежда на **рецепт**, который теперь уже всемогущая наука должна придумать для несчастного человека. Подсказать какие-то формулы или слова, предписать поступки. И тут я хочу отметить, что надежда такая — есть некое социальное явление.

Как-то вечером сидел я на даче, у костра, с молодой очаровательной парой: Он — молодой специалист, Она — студентка последнего курса, но уже и место в институте, где младшим научным сотрудником работает муж, ей обеспечено. Живут с родителями, хозяйственными заботами не отягощены, облачены в фирменные одежды, умны, красивы, спортивны, друг друга понимают с полуслова. То есть передо мной сидели именно те люди, у которых было все то, о чем мечтает Владимир Н. Более того, все им досталось без применения когтей и клыков, даром, их наградили жизнь и родители, оставив самим им лишь труд — жевать и про-

глатывать. Костер пылал у наших ног, жарился шашлык, а говорили мы о трудностях их жизни. О чем, о чем? Видимо, о тонкостях семейных взаимоотношений, которые и порождают некоторые проблемы? Увы, они просто наглядеться пока еще друг на друга не могут. Может быть, сложности в воспитании детей? И детей у них пока нет, они их, кстати, и заводить еще не собираются. «Дети, — сказала Она, — конечно, цветы жизни, но хороши они лишь в чужом палисаднике». — «Мы не имеем пока возможности заводить детей, — сказал более рационально мыслящий Он, — у нас еще слишком многого нет». И тут их просто прорвало. Господи! — говорили они, и губы их складывались в горькую усмешку. Как много вокруг неиспробованного, неотведанного, столько хотелось бы приобрести совсем не лишних, не ради престижа, крайне необходимых вещей, как много хотелось бы повидать, и — сколь многого, к сожалению, никогда они не увидят, не попробуют, не сносят. Нет средств. «Где бы найти способ заработать много денег?» — произнесли они чуть ли не в голос.

Тут я начал смеяться, я просто удержаться не смог, в который раз уже, сознаюсь, слышал я такие стенания, завершаемые тем же риторическим возгласом. Я и ответ уже знал и с ходу предложил им массу способов разбогатеть: подрабатывать вечером, ехать сезонниками, черный рынок, наконец, спекуляция. Они в ужас пришли! Нет, им это все вовсе не подходит. Им не хотелось бы изменять своему образу жизни, а уж пользоваться уголовными способами добычи — пардон! Им бы, чтоб все осталось на своих местах, как есть, но вот при этом бы, как-то вот так, вдруг, чтобы образовались еще и деньги.

Ребята они были в общем-то хорошие, и я рассказал им сказку о «петушином слове», потому что диагноз таким, как у них, желаниям был поставлен еще фольклором. А они мне в ответ, тоже уже смеясь, — про Емелю с любимой его щукой. Вариантов этого ро-

да в фольклоре тьма. Смысл — разбогатеть или овладеть каким-нибудь замечательным свойством, пальцем не пошевелив, сидя на печи, при помощи, так сказать, артикуляции. В этом и состоит то социальное явление, которое я намерен отметить.

Некоторые молодые люди возлагают на науку открытие чего-то вроде заклинания, тут, видимо, повлияла и научно-фантастическая литература, весьма правдоподобно повествующая о невероятных, но скрытых до поры возможностях человеческого организма, не знаю. Осмелюсь утверждать, что «положение ожидания» такого вот неожиданно свалившегося рецепта принимают молодые люди все чаще. Сейчас модно говорить об инфантилизме. Полагаю, что такая позиция — яркое его проявление; во многом — результат распространившихся сейчас повсюду различных экстрасенсорных и мистических идей. И недавнее массовое увлечение каратэ — из того же источника; шедшие учиться каратэ верили, что в считанные дни им откроются страшные тайны эффективнейших приемов и они станут непобедимы. И сколько было разочарований, когда выяснялось, что и здесь «пахать» надо, чтобы чего-то достичь.

Итак, сидя на печи — приобрести ключи к овладению если не миром, то хотя бы ближайшим окружением. Но тут есть один существенный нюанс: изменять себе, себя эти молодые люди все-таки не хотят, не хотят подличать, пресмыкаться, обманывать или пугать никого не желают, желают оставаться во всем порядочными людьми. Они, правда, и действовать не хотят. Не происходит ли это оттого, что даже и благополучные молодые люди полагают, что в жизни, которую они понаблюдали с порога, ничего нельзя получить, не став хищником? Волшебным способом можно. А иначе... Ничего себе представленьице о жизни, ага?

Виновата ли в этом жизнь? Да ведь она такая разная, столько в ней всего, и хорошего, и плохого, это уж как смотреть, — что обвинять ее у меня лично не по-

дымается рука. Виноваты ли сами молодые люди, замечающие в ней лишь пугающие детали? А может, мы с вами виноваты, воспитатели и взрослые люди? Ну, например, в том виноваты, что не допускаем долгое время до труда наших детей, а уже повзрослевшим слишком долго не доверяем ответственной работы, не верим в их взрослость. Да и как же ей верить, когда вот он, верзила этакий, — нами обутый и одетый, вспоенный, вскормленный и взлелеянный — куста боится. Вот потому и моет он у нас пробирки в своем институте. А ведь это мы его **от жизни** уберегаем, чтоб в ней не запачкался. И если с хищником, снабжающим его фирменным барахлом, он еще кое-как контактирует на почве купли-продажи, то, столкнувшись с хищником на производстве, в том же институте своем — пасует полностью. Он его и не особенно боится. Он его, как правило, презирает и старается дела с ним не иметь. Он почему против не выступает? Рук не хочет марать.

Маются и рослые, и красивые, и обеспеченные, и любимые. И кажется мне, что сами их мечтания о волшебном слове родились на том месте, где должно было развиваться что-то другое, так же как взамен чего-то иного возникла и цепь этих мечтаний. Как компенсация. Что же компенсируется? Не отсутствие ли в их жизни некоего стержня, а именно — самоутвержденности в ней? Ведь в собственной-то жизни слишком часто они — не хозяева. Они в ней что-то вроде гостей, которым хозяева-то и предписывают, куда идти, какие тапочки надевать, куда сесть и что есть. И хоть кормят их и обихаживают гораздо лучше, нежели самих себя, все равно гость хозяину не ровня, сколько ни уговаривай его: «Будь как дома!» А ведь мы им именно то и дело напоминаем: будьте же хозяевами! А потом руками всплескиваем: куда ж оно делось, чувство хозяина у наших детей?

Недовольство собственной жизнью у «счастливчи-

ков» будет посложнее несчастья ощутить себя трусом или человеком маленького роста. С точки зрения «счастливчиков», эти-то беды — сущая чепуховина! Хотя бы потому, что всегда есть на что свои неудачи свалить. А вот что делать человеку, если все у него вроде в порядке, а жизнь, кожей чувствует он, не удалась?

Своими глазами наблюдал, что сталось с одним парнем, которого жизнь, казалось бы, наделила всем, о чем можно только мечтать.

ИЗ ЖИЗНИ КАТЕРПИЛЛЕРА

«Катерпиллер» было написано здоровенными буквами на ярко-желто-черно-красной слоноподобной машине, увешанной, как елка игрушками, скребками, ножами, ковшами, крюками и бурами, которыми она, проползая вдоль улицы Чехова, с одной стороны колола лед, с другой скребла снег, а с третьей взламывала покрытие, нижними лапами что-то в канаву запихивала, тут же закапывала и еще затирала асфальтом, так что дорога позади оказывалась такой же ровной, как до ее прихода, но только новенькой. Онемев, стояли мы в полном тогдашнем составе на тротуаре. Вся наша компания. Высокомерные свободные гуманитарии с третьего курса. Тут он открыл рот и сказал эту задумчивую фразу из Хармса.

— «Мишурин был катерпиллером», — сказал он медленным своим голосом, и все слегка забалдели. Потому что он нашел себе имя. И, как всегда, влепил в серединку. Во всяком случае, на наш взгляд, это была полноценная десятка. Так он стал Катерпиллером.

Иначе его уже и не называли. Потому что он был как эта машина. Победителен и огромен. Он так густо был увешан достоинствами, которыми наделили его природа и родители, что недостаткам просто некуда было приткнуться. Рекламный суперчеловек, летящий, свер-

кая, из черного космоса, с неотвратимым лицом и сжатыми кулаками, — это был он.

Я не смогу назвать занятия, о котором кто-либо из нас, облизываясь, заикался и которого он бы уже не попробовал. Лошади? С детства обитал на ипподромовских конюшнях. Мотоцикл? Тогда все бредили мотоциклами. Но в наших прениях по поводу преимуществ «Явы-250» перед «Явой-350» (решающее — цена) он не участвовал. Он просто появился однажды на черной «Хонде», и лоснящейся кожей был он облит, как «ангел смерти». Но вскоре «Хонда» исчезла, и его стал приносить крошка «Фиат», срезающий носы грузовикам и автобусам, с люком на крыше, из которого высовывалась очередная девчонка, и волосы ее пламенем метались в уличном лязге. С девчонками у него всегда был порядок, они на него летели, как на фонарь в ночи. Он прыгал с вышки. И с парашютом. Водные лыжи — летом, горные — зимой. Стометровку бегал за 11 секунд, приседал со 150 килограммами на плечах. Что еще?

То, что все это изобилие от нас его не отдаляло? А от кого отдаляло? В том-то и дело, что он равно принадлежал всем. И каждый мог рассчитывать его заполучить. Его и тащили в разные стороны, просто чтоб рядом побыл, чтобы вместе. Почему? В этом-то и фокус. С ним все, что ни захочешь, получалось. С ним пустят туда, куда не попадешь ни по какому блату. У него круг знакомых — ошеломляющий. Но ведь и без знакомых он всюду — как рыба в воде.

Билеты он доставал куда угодно. Он склонялся к девушке в кассовом окошечке, и нужные ему бумажки вынимались откуда-то, будто именно его дожидались. Зачеты сдавал мимоходом, отсидев до утра в компании, и уже засветло, когда все расползались отсыпаться, щелкал пальцами: э! у меня же в десять зачет! И сдавал он его, повествуя иной раз вовсе не о том, что было в билете. Помню, как совершенно реликтовую ста-

рушку, читавшую нам западную литературу, он сразил тем, что, принявшись за какого-то классика, нашел в его манере джазовый принцип изложения. О содержании романа он не сказал ни слова. Он рассказывал ей о свинге. Старушка таяла, как пломбир. Он купался во всеобщем обожании. Он был обаятелен неотвратимо. Он был Катерпиллером.

Что же было его обаяние? А он вел себя шиворот-навыворот. Если были деньги, тратил не задумываясь, мог — до копейки. Мог подарить дорогую зажигалку, если кому-то понравилась. Мог в буквальном смысле снять с себя рубаху и подарить. Или загнать, чтобы были деньги. С вещами у него складывались отношения такие же, как со всем встречаемым в жизни — возникало желание, нравилась вещь, он ее забирал, восхитился товарищ — отдавал. Мог, если было холодно, спокойно обмотать шею чужим шарфом, а мог и своим шею приятеля, собравшегося на свидание, причем не из-за холодрыги, а потому, что ему показалось, будто шарф даст приятелю шанс. Уходя из гостей, надевал приглянувшуюся шапку, потом дарил ее первому пожелавшему. Шапка, рано или поздно, возвращалась на круги своя, так же как порой возвращались к нему его собственные вещи, пущенные в оборот. Для упорядоченного, благополучного семейства он был как стихийное бедствие, тем не менее все его к себе пускали, поскольку раздавал он все-таки больше и чаще, нежели брал.

Долгов не отдавал никогда, забывал о них через секунду, но кредитор всегда мог попросить у него в денежную минуту любую сумму, даже и превышающую одолженную, и, в свою очередь, не беспокоиться об отдаче.

Деньги сваливались на него всегда неожиданно, но часто именно в тот момент, когда все уже выворачивали карманы. Впрочем, он мог и день и два питаться чем бог пошлет, то есть чем накормят случайные знакомые, которыми он обрастал везде и мгновенно. Видел я

его и голодным, но в критический момент, в самый последний, деньги сваливались обязательно. Возвращался какой-нибудь старинный забытый долг, или вдруг на пути его попадался отец, человек, с сыном обращавшийся, как с неожиданно возникшим вдруг препятствием. Он обнаруживал сына и тут же начинал его преодолевать, как правило, бурно и щедро расплачиваясь за исчезновение с глаз долой.

Родители его, вечно пребывавшие за границей, изредка приезжая, осыпали своего взрослого уже ребенка барахлом, купюрами и немедленно скрывались на даче, чтобы оттуда как-то незаметно улизнуть обратно в свой зарубеж.

А мы собирались в его комнатушке, выделенной ему в неконтролируемое пользование среди огромной квартиры, которой в отсутствие родителей командовала дальняя его родственница, мрачного вида тетка, единственный, пожалуй, человек в мире, на которого Катерпиллер не производил никакого впечатления.

Его «хата» была типичной для своего времени свалкой всевозможных ярко окрашенных вещей: от табличек с черепом: «Не влезай — убьет» до плакатов с певцами рока. Там был один замечательный плакат — огромное лицо Фила Доновэна, странного англичанина с беззащитными глазами, чьи баллады были столь же изломанны, сколь и изысканны и не укладывались ни во что, как и таинственная жизнь его, в которой он то исчезал, то появлялся. Может быть, именно Доновэн и был для Катерпиллера чем-то имеющим настоящую цену. И что-то обозначающим. Вроде вопли хиппи: «Оу, воу!»

Сейчас я вдруг обратил внимание на одну странность, мешающую рассказу. Катерпиллер — не сюжетен. О нем не складывается ни одной завершенной композиционно истории. Какие-то детали, яркие пятна, эмоциональный встряс, обрывки несвязные, приметы. Все.

Помню, ввалились к каким-то случайным его знакомым на Петровке, сразу шумно стало, весело, будто мы сто лет сюда не заглядывали, а тут — как снег на голову, хозяйка — наших лет, руками завсплескивала: надо же! Смотрите, кто пришел! Вот не ждали! Еще бы! Учитывая, что нас она увидела впервые. Но все это вдруг перестало иметь значение. Начался сумбурный, весь на полутонах и подначках общий треп, что-то тут же сооружали, соображали, куда-то вбегали и выбегали. И вроде бы все стали друзьями. И он тут вроде был уже ни при чем. Около двенадцати он встал, потягиваясь, и, ни к кому не обращаясь, так, в воздух, сказал: «Поеду-ка я в Ленинград». Взял у хозяйки червонец и уехал на вокзал.

Точно так же он мог совершенно неожиданно отправиться и в любое другое место, куда угодно, или соблазниться самым невероятным предложением. Нам тогда казалось, что не было более, чем он, компанейского человека. Мы полагали, что он бы повесился за компанию. Мы ошибались. И я сейчас отчетливо вспоминаю, что он именно мог неожиданно бросить любое сообщество, просто так, потому что в голову взбрело.

Как-то, возвращаясь ночью, мы шли мимо сквера, транспорт уже не ходил. Он вдруг шагнул к ближайшей скамейке и, улегшись на ней, пожелал нам счастливого пути и спокойной ночи. Уговоры наши услышав, повернулся к нам спиною и принялся умиротворенно посапывать. Там мы его и оставили. Утром он появился в общежитии, свежий, довольный, потрепался и отправился уже домой, если, конечно, не перехватили по дороге.

Кстати, насчет Ленинграда. Кто-то поехал с ним однажды. И что? Жили на седьмом этаже дома, заколоченного под снос. Всю ночь по этажу шлялись какие-то люди, шло непонятное возбужденно-пересадочное веселье. Утром обнаружилось, что дом пуст. Все ночные обитатели исчезли бесследно. Вернулись из Ленингра-

да. Рассказывать особенно было нечего. Здорово? Здорово. А что именно?

Может быть, в те годы для нас насыщение в жизни такими вот вывертами — само по себе казалось достаточным? Я о чем. В те моменты, когда мы соприкасались с Катерпиллером, я не прощупываю сути. Форма — видна прекрасно. Выходит, что же — мы жили формой? А он был, это ясно, — ее стилем. Но стиль как способ жить? Забавно.

А вот что четко помню — уехал он тогда, с нашего веселья, и сразу пусто стало, как-то ненужно все и даже стыдно, расселись тут у незнакомых людей. И все разом стали разбредаться.

Органика пропала, какая была в его присутствии. Мы тогда вроде бы не особенно и отдавали себе отчет, что именно вокруг него все вертелось. Он был стержень. Казалось, при чем тут он, у нас и без него все тип-топ, и ребята отличные.

Это интересно. Ведь и до сих пор они отличные, а некоторые сейчас просто молодцы, чего-то добились, значит, и тогда были незаурядны. Да, компания была потрясающая. Но это другая история. Я только о Катерпиллере. Потому что была жизнь, ее слитное течение. И был он. Две разные вещи. А вот когда они соединялись и он одаривал жизнь своим счастьем — начинался праздник.

Третий курс. Все уже освоились, разобрались, кто есть кто. Освоены соблазны и преимущества именно нашего способа жить. А еще впереди — пара лет. Третий курс. Каждый день как подарок. Ожидание праздника гудело в нашей крови. Являлся Катерпиллер, падал искрою в готовое для пожара место, и ожидаемое сбывалось.

Потому он всегда и везде производил своим появлением маленький шторм и землетрясение. Он продвигался по жизни, взрывая ее налаженный распорядок, устоявшийся быт, взаимоотношения. Коловращение на-

чиналось там, где он возникал, водоворот. Но он исчезал, и волны смыкались за спиною его.

Без него шла другая жизнь, где даром ничего не давалось, где приходилось по-черному пахать. Все мы чем-то более или менее серьезно занимались, все, помню, подрабатывали. Но по общему негласному уговору эти черновые подробности всегда задвигались, оставались на втором плане, явно себя никогда не обнаруживая. Хорошим тоном считалось: никто не должен видеть человека за добыванием насущного хлеба. Однако мы его добывали и занимались той мозговой деятельностью, которая в конечном счете и сделала из нас то, что мы сегодня есть. Получается: эта жизнь была — суть.

Я вот все думаю, куда же исчезают они потом, кумиры нашей молодости, победительные, живущие, как птицы небесные, чье обращение с жизнью, как с пиджаком: хочу надену так, хочу — навыворот. Куда они исчезли, пропали? Не поумирали же. Где-то ведь живут, чем-то зарабатывают, с кем-то разговаривают? Но где, чем, с кем? Почти обо всех из той компании я что-то знаю, одни круто поднимались по службе, другие двигались ровно, но все набирали форму, матерели, праздник, конечно, исчез, сменился буднями, но что поделаешь. А Катерпиллер — пропал, как в воду канул.

А ведь он начал исчезать уже тогда. В самый праздник наш, когда все гудело и крутилось. Он перестал появляться в обществе ошеломительных красавиц, в последнее время с ним рядом наблюдалась одна и та же девочка, на завистливый взгляд ничего из себя не представлявшая. Такой тинейджер, с прозрачным неправильным лицом, косящими глазами. Только волосы были у нее классные. Поскольку это была Его девочка — этого оказалось достаточно, чтобы в общем мнении из полной безвестности она поднялась на высоты, какие ей, при ином раскладе, и не снились бы. Теперь в ней сразу же обнаруживали что-то.

А он-то как же? Примерно в это время, в конце четвертого курса, он начал пить. Просто пить, без праздника. Пресытился? Наелся им? Он, может быть, и наелся, но его вела инерция. Он одиночества уже не переносил. И из компаний, как прежде, не срывался, досиживал до победного. Более того, он сам их начал искать. Может, потому, что нам стало не до того? И не до него. Суть начала преобладать над формой? Катерпиллера все чаще видели с ребятами третьего курса. Он как бы сам оставил себя там на второй год. Мы его передали нашим преемникам. Передали как эстафету? Он был удивительно здоров и все так же небрежно сдавал экзамены, и мог при случае прыгнуть с вышки, стометровку, правда, бегать не рисковал. Он вдруг начал терять одно за другим свои завидные свойства. Они осыпались с него, как иглы с перестоявшей новогодней елки. Это случается всегда неожиданно: однажды что-то отказывает, и вдруг все поползло. Он, видимо, это почувствовал. В нем начался бешеный износ.

Но тогда мы не задумывались над этим. Нам праздник выпадал урывками. Это, кстати, нас еще и бесило. А Катерпиллер жил только праздником. Праздник был его будни. Видимо, он был очень талантлив, Катерпиллер, потому и продолжал так легко учиться. Да, конечно, я вспоминаю, еще на втором курсе он чуть ли не на спор перевел какой-то жутко сложный текст, рассказ, написанный сленгом, что-то про подростков, которые уходили из семей и жили где попало. И все мы, помню, читали готовые куски, и не верилось, что у него еще и слух и язык такой оказался. Кто-то отнес его перевод в журнал, и рассказ напечатали. Катерпиллер сразу стал меж нами знаменит. Хотя именно его это удивило более всех. Он не подозревал за собой способности, не предполагал вообще, что может что-то толковое написать. Так, веселил товарищей.

Ничего похожего и столь же сильного больше ему сделать не удалось никогда.

С девочкой они великолепно пикировались. Такая шла вроде бы шалопайская беседа. Она тоже любила Хармса, а может, это он ее научил. Он говорил ей, растягивая фразы: «Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар...»

Она отвечала: «Положь его обратно, положь его обратно».

Он: «А вот и не положу, а вот и не положу».

Она: «Ну и не клади, ну и не клади...»

И так далее. Чепуха какая-то, клоунская реприза. Но в эти моменты казалось, что она, бывшая лет на пять моложе, — умнее его. Она не была умнее. Она его любила. В этом все дело. И воспринимала всерьез. Чего, боюсь, никто более не делал. Всерьез воспринимала праздник, который он нес с собою. Потому и чудится мне сейчас что-то в этом их диалоге не случайное. Какой-то пароль. Может, и ими не осознаваемый.

А потом он на ней женился. По-моему, у него тогда был довольно продолжительный хороший период. Не пьет, говорит о будущем дипломе, и тема интересная, очень увлечен. А потом родился ребенок. Какой-то болезненный, слабенький. Жена металась по врачам. Он в этом не участвовал. Странное дело — он был почти равнодушен к своему ребенку. Боюсь, его гораздо более беспокоило растущее равнодушие окружающих к нему самому. Но — пятый курс. Уже проступает из-за горизонта непонятная пока будущая жизнь. Поодиночке. И тревога в каждом. Виделись мельком. Нам не до праздника. И не до Катерпиллера. И он снова начал пить, уже в открытую. И что самое скверное — с утра.

Распределение. Протежировал ли ему отец? Скорее, морально. Попал он в одну из довольно приличных редакций, там помнили его первый опус, но продержался недолго. Этот короткий отрезок я знаю с чужих слов. Алкоголик. Мрачен постоянно, поговорить с ним не удается, в компании быстро набирается и несет ахи-

нею. Зовут его все реже — ворует книги, вещи, которые можно продать, чтобы напиться.

Родители его разводятся. Те деньги, которые время от времени отсыпал ему отец, уходят в другой дом. Катерпиллер стал самостоятелен.

Он научил пить свою девочку. Напиваются оба, причем она — быстрее. Она любила и делала все, что делал он. Всегда. На этом и сломалась.

Вот так все разом посыпалось, разрушилось и рухнуло. Где-то в это время, случайно, я к ним зашел. Разговора не вышло. Дело было с утра. Он был мрачен, зол, не слушал, а по-моему, и не слышал, что я ему говорил. Сидел на диване и, паясничая, тянул: «Я вынул из головы шар...» Она из кухни откликалась раздраженно, почти ненормально: «Положь его обратно, дурак!..» Так они теперь ругались.

И вот я думаю, что же сделал он со своей жизнью? Или это она сделала с ним, расплатилась, так сказать, за выданное даром и растраченное счастье? В этом случае выходит, что кумиры наши, безоблачные счастливцы, певчие птицы заранее обречены. Они так запрограммированы — на недолгую вспышечную жизнь. На год-два. Ну, три. Что-то вроде того, как живет подросток-чемпион. Бешеный успех, а далее — доживание. Но чемпион — другой расклад, у него есть кое-что позади, он свой успех нажил черной работой. Он с детства был пахарь. Он и после успеха умеет работать, этого у него уже не отнимешь, потому может и себя восстановить, и научиться новому, прожить вторую жизнь. Он не пропадет. А кумир обязательно пропадет. У него только успех. За так. А сразу за ним — пусто.

Кончается кредит, выданный природой и родителями, обнаруживается, что дальше жить — надо уметь, что этому следовало научиться. Научиться жить вне успеха, вне праздника, вне счастья. Ой, непросто! Счастье, свалившееся на тебя за так, — отравляет. При-

вычка к нему как наркотик. Вот почему, видимо, на все идет человек, чтобы вернуть знакомое сладкое состояние. А выходит все хуже и хуже.

— Ну и пусть! — сказал мне один второкурсник, выслушавший внимательно всю историю. — Пусть. У меня у самого есть такой знакомый парень. Ну так я ему завидую. Я бы хотел, как он, тоже прожить два-три года в празднике. Наплевать, что будет потом! Зато буду до смерти эти годы вспоминать! Пусть потом будни, серость, но хоть несколько лет да пожил в раю!

А что? Красиво. Если не помнить о том, что жизнь не кончается сразу за воротами этого рая. А обычно она там только начинается. После этих двух-трех лет прожить придется еще тридцать-сорок. Минимум. Хватит ли на этот срок райских воспоминаний? Удастся ли прожить ими одними? Не захочется ли чего-то еще? А уж — аут. Почему? Да потому, что в жизни обычной, будничной, не голубой и не розовой, чтобы получать какие-то блага, надо кое-что уметь. Ни известность, ни уважение, ни деньги за так не даются.

Но есть и еще одно, о чем начинающий жизнь даже не подозревает: на всю длинную жизнь отпущено человеку совсем немного сильных радостей. А лишь первые впечатления единственно сильны и подлинны. Каково это будет — жить еще тридцать лет, уже испробовав все, питаясь даже не вторичными эмоциями, а просто затоптанными? А ведь, жадно живя, большими кусками глотает человек доставшееся ему, не прожевывая, вкуса не ощущая. Это надо еще научиться — прожевывать и ощущать, жадному же довольно самой возможности глотать, заглатывать, довольно счастья — что дорвался. И, не поняв сути, не распробовав толком ничего, останется один на один со своей длинной и безобразной жизнью такой человек. С жизнью, которой не восхитить и ближних своих. Очень быстро настигает человека расплата. Но длится — до смерти.

Я отвлекаюсь. Мне ли судить, самому наделавшему в жизни ошибок?

Но вот недавно попался мне тот отрывок из Хармса, про Мишурина, который был Катерпиллером. Мишурин этот от своей жизни ослеп. «До глубокой старости он ходил ощупью, и поэтому, а может быть, и не поэтому, стал еще больше походить на катерпиллера». А картерпиллер между тем в переводе — гусеница.

Я лишь на одну особенность хочу навести ваше внимание. Вы заметили ли, что во всех историях о поисках счастья и благополучные, и неблагополучные ждут исцеления извне? Ну почему же, думаю я сейчас, и пока не нахожу ответа, почему никому из них, ну, скажем, многим, просто в голову не приходит — обратить внутрь глаза свои. Ведь только здесь исцеление.

Потому и великие люди маленького роста стали великими, что вырастили в себе огромного роста Личность. Она заслонила мгновенно все их несовершенства. И немощи заслонила, если у кого были. Да так, что по сию пору поразительна зоркость слепого Гомера и тонкость слуха глухого Бетховена. А довод — де, мол, они кто! а кто я? — стыден, поскольку лишь оправдывает нежелание заставить душу трудиться. А она «обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь».

Тем отличен человек от животного, что не ради единого продолжения рода живет, а еще и ради нравственного совершенствования рода, и великие духовные ценности люди создавали во спасение своего разума, человечество во все времена стремилось стать Человечеством, хоть в иные периоды истории звериное и брало верх. Сохранить и возвысить душу свою, дух интеллекта, порядочности, чести, добра, мужества, противостоящих скотству и живоглотству — в этом назначение человека.

И вот это, на мой взгляд, единственный и универсальный ответ на все вопросы, содержащиеся в письмах, и рецепт исцеления от душевных скорбей. Потому

что если оглянется жаждущий исцеления вокруг себя, всмотрится, то увидит столь же невысокого роста людей, которых это обстоятельство не беспокоит и не пугает нимало. И пусть себя спросит: а на его-то мнении о них сильно ли сказывается их рост? И внешность значения не имеет для человека, который есть — Личность. Его красота не в расположении мышц, хрящей и жировых прослоек, она в своеобразии натуры, такой неповторимости, что в каждом вызывает жгучий к себе интерес.

Такие люди могут позволить себе не быть силачами, ловкачами, не обладать всем тем «джентльменским набором» свойств, который считается обязательным, чтобы сойти за преуспевающего человека. За «сильную личность». Кстати, я вот думаю, а насколько подходит определение «сильная» к понятию «личность»? А бывает «слабая личность»? Слабая — значит никакая. Личность — всегда сильна, и в определениях не нуждается. А если нуждается, значит, речь идет о чем-то совсем другом.

Значит, дело за тем, чтобы зародить и вырастить в себе личность. Хорошо, скажут мне читатели, убедили, но как это сделать? Вот достойный вопрос. Но на него ни рецептом, ни формулой не ответишь. Стать Личностью — это, может, самое трудное, что есть в жизни. Не потому ли многие стараются научиться хотя бы казаться ею?

ХОЧУ КАЗАТЬСЯ!..

Претензии молочного пакета

Замечательную надпись прочитал я на пакете для молока. На обычном, квадратном, сине-белом, симпатичном и стройном. Сделали его по финской лицензии. А между сгибами меленько написали: «Izgotovitel upakovki ELopak. Zapatentovano».

Вы прочитали? А теперь ответьте — для кого изготовители изготовили эту надпись? Для Элопака, чтоб не усомнился в своем авторстве? Да не поймет ничего Элопак, написано-то по-русски. Значит, для нас с вами. Но зачем латинскими буквами? Вот и я тоже истерзался, пытаясь проникнуть в тайный замысел изготовителей. Я в надписи смысла искал. В надписи смысла не было. Передо мной красовалась надпись, назначение которой — не сообщить информацию, а просто присутствовать на вещи. Тут чем меньше смысла, тем даже лучше. Нужна была просто некая надпись иностранными буквами. И все.

Нужна была пакету некая маленькая штучка, вроде той крошечной фирменной тряпочки, что заделывают в рубашечный шов, откуда она и выступает сгибом, с буковками. Кто их читает? Никто, потому что тряпочка изготавливается не для чтения, а для того, чтобы придавать безликой вещи законченность, ее одушевить. Она, как тот последний мазок, что ставит мастер на ученических работах, сразу повышая их цену. Это знак, делающий вещь — фирменной.

Но для чего это пакету? Пакет и так неплох, не говоря уж о том, что он и по сути — самый настоящий, фирменный. Мало ли что он есть — по сути, важно — выглядит ли как надо. Мало быть — важно казаться. И надпись, сделанная на нем для услады «покупательского самоуважения» — вот из какого пакета пьем! — свидетельствует прежде всего не о хитроумии изготовителей, а об определенном феномене общественного сознания, сложившемся в последние годы.

Потому и наши отечественные одежки, сшитые в Калинине и Вышнем Волочке, отныне снабжаются этими вшитыми в шов тряпочками. То, что вещь местного изготовления, — это надо еще приглядеться, а штучка, в нее вделанная, по неведомым законам психологического внушения, действие свое на нас уже оказала. Так

мы и живем, не к вещи приглядываемся, а к тому — есть ли на ней милая нашему сердцу штучка.

Вот и пакет туда же. Нет, не эфемерна страсть — казаться. Если оторвем мы наши взоры от одежд и посмотрим шире вокруг, то обнаружим, что в жизни, нас окружающей, существуют и убеждения кажущиеся, и репутации, даже литературные герои. И это не автор им такое устроил, это уже мы с вами наградили их определенным реноме.

Правда о Шарлотте Баксон

Читаю газетную статью некой дамы-критика — о необходимости создавать в литературе образы положительных героев, таких, чтобы стали образцами поведения для нынешней молодежи, которая слишком приземленно живет, утрачивает способность «пари́ть». Примеры образцов дама называет. Гамлета среди них, естественно, нет: дядю убил, да еще и притворялся сумасшедшим. Милей всех казался даме д'Артаньян; он так похож на современную молодежь, подмечала она, раскован, естествен в чувствах и поступках. Но в нем же и свойства, зовущие к совершенствованию: рыцарь, защитник слабых, враг кардинала, наказывающий зло и несправедливость. Через плечо мне заглянула девушка-практикантка и заметила: «А по-моему, настоящий герой в романе — Атос. Вот в кого можно влюбиться».

Это еще Сенека заметил: «Бывают заблуждения, имеющие видимость истин». Вы правы, я намерен разрушить миф о д'Артаньяне, а заодно и о его друге Атосе. И сейчас это сделаю, не выпуская книги Дюма из рук.

Но для этого я должен рассказать о некоей Шарлотте Баксон. Пятнадцатилетнюю монахиню Шарлотту, не знавшую жизни, потерявшую, видимо, родителей, совратил священник, служивший в монастырской церкви, уговорил из монастыря бежать, а для того чтобы

потом было на что жить, украл какие-то священные сосуды, в момент побега их обоих и взяли. Шарлотта сбежала, а священник получил 10 лет и воровское клеймо в виде лилии — на плечо. По стечению обстоятельств, клеймил его родной брат, местный палач. Неплохая, как видим, была семейка. Палач, естественно, винить в происшедшем родного брата никак не мог, винил во всем пятнадцатилетнюю девочку, «исчадие ада». Неясно, правда, где «исчадие» успело натренироваться в злодействе, если, кроме монастырской, иной жизни не знало. Палач девчонку отловил и собственноручно поставил ей на плечо воровское клеймо.

Тут сбежал из тюрьмы его брат-священник, и Шарлотта соглашается жить с ним дальше. Видимо, любила. Священник поселяется во владениях некоего графа, где получает приход, а Шарлотту выдает за сестру: католическим священникам жениться было нельзя.

Видимо, так бы они и жили, никому не мешая, но тут Шарлотта попадается на глаза хозяину тех мест графу де ла Фер (в дальнейшем Атос). Шарлотте уже шестнадцать, она, по словам Атоса, «прелестна как сама любовь», у нее «ум поэта». И тут Атос совершает идиотский, по феодальным привычкам, поступок. Своему другу д'Артаньяну он говорит, что «мог бы легко соблазнить ее или взять силой, да и кто бы стал вступаться за чужих, никому не известных людей?» Но «к несчастью (!), он был честный человек и женился на ней. Глупец, болван, осел!» Вот это нормальная феодальская реакция!

Отказаться Шарлотта никак не могла, куда ей было деваться. И с графом де ла Фер жила она прекрасно, и тоже — дожила бы, возможно, до седин, если бы не упала с лошади, не потеряла сознание; тут граф и обнаружил лилию. Ужас! Ужас! «Ангел оказался демоном!» Вот это плевок в душу феодала!

Ну, казалось бы, дай любимой женщине очнуться, расспроси ее: как, что, мало ли чего не случается в

жизни, а случай-то был именно такой. Но граф, секунды не медля, берет веревку и собственноручно вешает любимую на дереве. «Что же вы не едите ветчину? — спрашивает он у д'Артаньяна, закончив рассказ. — Она восхитительна».

Шарлотте повезло, она не умерла, как-то спаслась. И, полагаю, того, что сделали с нею люди, оказалось вполне достаточно, чтобы начать испытывать к ним вполне определенные чувства. «Вы не женщина, — с апломбом заявляют ей в самом конце палач и Атос, — вы не человек, вы демон, вырвавшийся из ада, и мы заставим вас туда вернуться!» Это тот самый палач, который ее заклеймил, и тот самый Атос, который ее за это повесил. Нет, нет, они — не про тот ад, который сами некогда ей устроили — и откуда она было вырвалась. Они ей голову собрались отрубить.

В общем, понятно, как Шарлотта, испытывая к людям определенные чувства, стала орудием кардинала, шпионкой, да какой! Тут появляется еще один будущий «мститель», д'Артаньян. Он-то за что мстит? А вот за что. Сильно любя Констанцию Бонасье и непрерывно клянясь ей в верности, решает мимоходом попробовать позабавиться и с миледи, то есть с Шарлоттой Баксон в прошлом. Но — осечка. Ну что тут можно сказать — злодейка она и есть злодейка! Тогда он совращает служанку, через ее комнату попадает в спальню миледи и выдает себя за ожидаемого ею графа.

Добившись победы, наш герой, естественно, хочет ее закрепить, сочиняет от имени графа издевательскую записку, за издевательства обещает миледи графа убить, но требует платы все той же монетой. И плату получает. Ну, тут он на радостях расслабился и принялся рассказывать дважды обманутой им женщине, как он ее надул! Весьма странно было, если бы она не захотела ему отомстить. Миледи организует покушение, отравляет Бонасье. И у д'Артаньяна накапли-

вается столько обид, что теперь уже он объявляет себя мстителем. Вот они под конец, три борца за справедливость — палач, Атос и д'Артаньян, и собрались, чтобы «исчадие ада» истребить.

В ходе всей этой истории д'Артаньян со товарищи активно вредит кардиналу, поливает его грязью, после чего принимает от него указ о повышении в должности и клянется в верности. Все довольны чрезвычайно. Никаких там сомнений, угрызений, упоминаний о порядочности. Хэппи энд.

Должен заметить, что в конце-то концов дама-критик не так уж совершенно и не права, сегодня достаточно молодых людей, живущих в мягкой манере д'Артаньяна, столь же раскованно и непринужденно, по законам плутовского романа, жаль, что не всегда в согласии с уголовным кодексом.

Меня занимает другое: как и когда это с нами случилось, такое вот перемещение акцентов. Где-то, когда-то, ненавязчиво, в мягкой манере, произошла переориентация какой-то части нашего сознания, ну, не всеобщая переориентация, естественно, но многие ценности поменяли. И на первый план вышло не сущее, но кажущееся. Ну, например, эта заманчивая светская жизнь одетых во все «фирменное» людей. Это ощущение, что счастье они не куют где-то в сферах, скрытых от глаз, а оно само и задаром идет им в руки. А д'Артаньян вышел в герои. Плутовская сущность его, основанная на бесцеремонности и бессовестности, легко оказалась прикрыта задиристым хвастовством, беззаботной легкостью в обращении с людьми и деньгами, то есть тем самым флером красивой жизни, что на рынке сегодняшних молодежных ценностей котируется весьма высоко. О подкладке этой кажущейся легкости как-то и говорить не принято: дурной тон. Как же это все случилось? Ведь ни с того же, ни с сего? Не сразу? Давайте обернемся, попробуем понять, с чего все начиналось.

Воспоминания о «скрипящем сердце»

И написан был фельетон, и фамилия фельетониста была знаменитой — Лиходеев, и положен фельетон в мой стол, под бумаги, на память, редактор опубликовать его не рискнул. И прошло пятнадцать лет. Вчера обнаруживаю пожелтевшие листочки.

Оказывается, в те времена дебатировалось ношение дамами брючных костюмов, что считалось абсолютно неприличным. И одна юная особа, трудившаяся на фабрике, где вдруг приступили к пошиву дискуссионной одежды, таковую приобрела в магазине и явилась в ней на родное предприятие. Директор предприятия лично выдворил ее за проходную вон, крича при этом на бедную даму, «как на алкоголика», после чего вернулся в кабинет и издал приказ, согласно которому появляться на фабрике в изготовляемой ею продукции — категорически запрещалось.

Сейчас, по прошествии времени, история эта вовсе не показалась мне комической. Более того, я вдруг испытал приступ острого сочувствия к сорвавшемуся на крик директору. Смотрите: «приличная» продукция гниет на складах, за «неприличную» мгновенно платят деньги. Еще хуже, на нее спущен план, который следует выполнять. Да, это спасет «горящую» фабрику, но какой ценой! Ценой морального разложения общества! Нравственное чувство директора как человека, уязвленно глубочайше, я думаю, внутри директора — оно криком кричало. Скрепя сердце выпускал он отвратительные штаны. «Скрипя сердцем», — усмехнулся каламбурист. Кардиолог между тем определил бы состояние это — как предынфарктное. Столкнулись, ни много ни мало, долг и честь, столкновение невыносимое, предмет рассмотрения классическими трагедиями. Какой уж тут комизм.

Годы пронеслись, и взаимоотношения человека с одеждой упростились. Все уже сказано на эту тему, все

всем ясно. Но тут входит вернувшаяся из командировки сотрудница и со смехом (снова почему-то этот смех!) рассказывает, как ее не пустили в одно солидное областное учреждение, поскольку на ней были джинсы, самая в общем-то подходящая для командировок одежда. Подоспевшие ребята со стройки, где она собирала материал, объяснили, что это — корреспондент, и непускавшие сдались: пусть строители идут через главный вход, а «ее» мы проведем через черный, тайком, чтобы работники учреждения не увидели. То есть ей — везде можно, хоть в ресторан, но в это учреждение — ну никак. То ли моральные устои работников были шатки, и за них опасались стоявшие при дверях товарищи, то ли, напротив, неожиданное появление женщины в джинсах перед глазами могло привести работников в ярость, факт налицо — обычные, заурядные штаны рассматривались данным учреждением как нечто вызывающе недопустимое.

Любопытно, что в том же самом областном центре, на одной из фабрик шьют по лицензии именно джинсы, ничем от западных, кроме ярлыка, не отличающиеся. И, видимо, сердце у работников областного учреждения, вынужденных допустить у себя под носом это безобразие, «скрипит» так же, как «скрипело» оно у бедного директора. Может быть, потому они, допустив по причинам экономическим шитье штанов, сами смотреть на них не желают, уж это-то они могут себе позволить? Видеть не желают, дабы избежать душевных потрясений и трагического конфликта.

Как бы там ни было, тема актуальной быть перестала. Кроме отдельных представителей с перекошенными мозгами никто не склонен вступать по поводу ее в дебаты, но так и осталось для меня величайшею тайной — почему же ношение этих самых штанов считалось неприличным? И чем, собственно, синие штаны со строчками казались неприличней, скажем, коричневых без строчек? Или чем брюки — неприличней юбки?

Тем, что ноги до колен не видны? В чем виделась развратность брюк на женщинах и джинсов на мужчинах? Теперь, боюсь, никто мне этого уже не объяснит, ушли времена, когда нашлось бы множество охотников. Одежда, однако, продолжает загадывать нам иные загадки. И вовсе не по части фасонов.

«Фирма́» как определитель интеллекта

Годы несутся, взаимоотношения человека с одеждой меняются, но, увы, не становятся проще. И волнуют умы. Вроде бы всем все уже ясно. Но тут входят представители новых поколений и останавливаются в недоумении перед проклятым вопросом о значимости одежды в их жизни и теми парадоксами, которые она порождает. Вот и письмо пришло:

«Выйдя из танцевального зала покурить, я разговорился с девушкой. Неподалеку покуривал парень в «варёнке» — джинсовой куртке и штанах. «Смотри, какой фирмо́вый парень!» — с заискивающим интересом произнесла она. Мысленно я позавидовал: да, он весь «при фирме́»!

Девушка ушла в зал, а я задумался. По словам и интонации девушки можно понять, что, не зная его как человека, уже одно то, что он «при фирме́», делает его интересным. Ну а если на обезьяну натянуть фирменный костюмчик, она ни на йоту не станет человечней. Но девушка иного мнения. Если бы между моими брюками и его «вареными» джинсами была чисто эстетическая и практическая разница — это одно. Но слова девушки выражают отношение к «фирме́» как к привилегированной одежде. Таким нравятся фирменные штаны, и неважно, что в них вдето. Значит, отношение девушки может измениться от того — в «бананах» я или в брюках. Люди общаются ведь не с «фирмо́й». Если бы людей любили за «фирму́», то можно

было бы надеть ее на манекен, и для этой девушки манекен стал бы предметом любви.

Но какая может быть любовь у таких людей, если смято все святое, интеллектуальное противопоставлено одежде.

Но ведь одежда должна быть по сезону, удобной, эстетически приятной, но не мерой человеческого достоинства.

В народе говорят: встречают по одежке, а провожают по уму. Фирмопочитатели встречают и провожают по одежке. Одушевление одежды обесценивает человека как человека.

Вроде бы всем это ясно. Каюсь: я пришел к этим выводам не совсем безбольно. Зато я понял, что имею преимущество перед «фирмо́вым парнем»: если человек нуждается в общении со мной, то я, в своих простых брюках, и нужен ему как человек, а не как манекен. Одухотворенному человеку не нужна «фирма́». С другой стороны, и дорогие одежды не сделают его бездуховным — ибо он Человек и не зависит от штанов.

Я 1963 года рождения, живу в Ленинграде, комсомолец. Если вами будет использовано мое письмо, прошу подписать его псевдонимом Правдин».

Подписываю, тем более что псевдоним выбран, видимо, со смыслом, парень намерен сказать миру правду. Так сказать, бросить ему в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью».

Истина, открывшаяся нашему Правдину «не совсем безбольно», вообще-то всем давно известна. Но каждый сам открывает мир. И даже банальность становится частью собственного твоего опыта лишь тогда, когда доведется проверить ее на себе. Резануло Правдина, что на некую девушку произвел впечатление не он, а некий иной молодой человек. При этом девушка имела неосторожность уточнить: чем именно этот иной внимание ее на себя обратил — одеждой. Сердце Правди-

на закипело, поскольку ему заинтересовать девушку было, увы, не дано: на нем «простые» штаны.

И обнаружил вдруг Правдин, что прежде всего обращают внимание люди на внешность друг друга, а не на внутреннее содержание. На форму, а не на суть. И это показалось ему крайне несправедливым. Вполне Правдина понимая, должен, однако, за человечество заступиться: на внутренний мир потому трудно обратить внимание, что он, так сказать, невидим, а внешность — налицо, рассматривай сколько угодно, вот люди и рассматривают. И некоторые весьма при этом начинают друг другу нравиться, и знакомятся, с тем, кстати, чтобы поинтересоваться уже и внутренним миром. Так было всегда, тут ничего не поделаешь.

Правдину бы задуматься вот каким образом: если нет у меня внешности этакого «поди сюда», а в привлекательности своей сути я уверен, значит, мне и нужно показывать то, в чем силен. Не на танцплощадке, разумеется, а выбрать подходящее место, где как-то блеснуть, чем-то других поразить. Но прежде оставить надежду — вопреки всему — понравиться тем, чего нет.

Тут бы смог и я сказать Правдину: молодец, что носишь не «фирму́», а то, что по сезону, удобно и эстетически приятно. Неясно, правда, почему простые штаны более соответствуют сезону и чем они фирменных удобней. Но уже то, что они «эстетически» Правдину приятней, меня бы лично порадовало, поскольку означало бы, что Правдин имеет собственный взгляд на вещи и считается прежде всего с ним. Но радоваться у меня оснований нет, с общепринятым-то Правдин как раз весьма и весьма считается, поскольку оно его — задевает.

Но объясняя нам, а при этом и себе, — почему он «фирму́» терпеть не может, Правдин производит маленький логический сдвиг, такую военную хитрость (естественную, кстати, в его положении, ему ведь хо-

чется думать, что моральную-то победу в ситуации одержал именно он, ему полагается так думать в целях личностного самосохранения — это возрастное), однако этого оказывается достаточно, чтобы ход его рассуждений двинулся совсем по другим рельсам. Сделанное им нарушение логики интересно поанализировать, ибо в нем, на мой взгляд, содержатся ростки целого ряда воззрений, которые в дальнейшем человек уже развивает, раз он их придерживается, их прокламирует и даже навязывает порой окружающим. Логика же подправляется, исходя из принципа: если не мое, то — плохое.

«Фирмá» ему недоступна, скорее всего по недостатку возможностей, ну и ладно, он в ней не очень и нуждается: «одухотворенному человеку — не нужны джинсы». Из этого, кстати, следует, продолжает размышлять Правдин, что у тех, кому они нужны — с одухотворенностью слабовато. «Фирмá» противостоит интеллекту. Из штанов получается универсальный инструмент для отбора и классификации людей.

Кстати, борцы с джинсами в те далекие времена, если вспомнить их аргументацию, стеной стояли именно за духовность, высокую нравственность, утверждая, что носители этих замечательных качеств водятся лишь среди обладателей простых брюк. Сами они, естественно, носили простые. У тех же, на ком джинсы, плохо было и с моралью, и с нравственностью, и с умом. Я думаю, а что если бы вчерашний джинсоносец влез поутру в простые брюки, можно ли его было сразу объявлять умным и порядочным?

С точки зрения «моралистов» вполне. Потому что он сразу перестал бы их раздражать. Так за что же бились они? За человеческое в человеке, за его духовное содержание или за форму одежды? Помню, задавали им и такой вопрос. Но тут они вставали в третью позицию и цитировали Чехова, де, в человеке должно быть все прекрасно, и мысли, и одежда. То, что Чехов имел в

виду их собственную одежду — у них сомнения не вызывало. Вот бы спросить у Антона Павловича.

Сейчас очевидно, что моралисты тех лет интересовались человеком не дальше его штанов. Впрочем, иного им, видимо, и не было дано. Они, однако, активно воспитывали молодежь, и вот к каким результатам их «работа» привела. Поскольку духовность для них выражалась лишь во внешнем соответствии «приличиям» (господи, как мало надо-то было, чтобы им угодить!), развился тот нынешний тип людей, которые дома, в кругу друзей одеваются так, как считают красивым, говорят то, что думают, а на прием к «моралисту» влезают в «приличную» одежду, им любимую, скидывая ее сразу же после приема с облегчением, в присутствии «моралиста» говорят то, что он считает возможным для произнесения. Никого не воспитали «моралисты», им и не дано никого воспитать, единственное, чего добились они — приучили многих носить маски. Приучили к двуличию. Приучили — казаться. И успокоились. И с удовлетворением констатировали резкое увеличение «прилично» одевающихся и здраво размышляющих молодых людей.

А теперь то в одной газете, то в другой мы читаем, как абсолютно приличные молодые люди, с будущим, активисты совершают время от времени «немотивированные» правонарушения. Комсомольский секретарь школы, отличник-десятиклассник, командир отряда «Орленок», член горкома комсомола, написав на выпускном экзамене сочинение о том, каким должен быть герой нашего времени, получив за сочинение «пять» (фразы из сочинения цитировались работниками гороно как пример зрелого миропонимания), выпил на радостях с друзьями в парке и избил проходившего мимо ветерана, за что оказался вместо вуза — за решеткой. Всех история поразила, всех, кроме близких друзей нашего мальчика, которые знали, как усвоил он науку притворяться. А теперь представьте, что ветеран

не оказался бы случайно возле подвыпившего активиста, или тот избил бы его не столь сильно, что пришлось вызывать врачей и милицию, наконец, простил бы мальчишку — что сталось бы с ним, вывернувшимся из беды, дальше? Так и пошел бы вперед и выше, хватая должности, всюду «соответствуя», да еще позже, других принялся бы обучать. Ведь только случай остановил это поступательное движение. Лишь случай. А вокруг все изумились: надо же!

Да потому изумились, что весьма хорошо «выучены» оказываются многие молодые люди. Такими кажутся молодцами, ого-го! Лишь по случаю, если повезет, удается увидеть их истинные лица, хорошо, значит, тренировали. И не одно поколение. Годами тратили уйму сил, времени, газетных пространств на одно лишь выяснение — какая одежда наиболее годна изображать духовность.

Хватит, сказали мы наконец. Хватит, ребята, сражаться с тем, что на человека надето, займемся делом, займемся бедами, которые в человеке, его сложной внутренней жизнью займемся, его разрушающейся семьей, отношениями со сверстниками и миллионом терзаний, которые из-за этого происходят, его становлением, превращением в личность, а это процесс порою мучительный. Займемся делом. Перестанем растрачивать энергию, вырабатывая у мальчишек умение прятать от других свое настоящее лицо, загонять внутрь стремления, чтобы там, стесненные, бились и измучивали человека, приводя к ранним инфарктам. Хватит оценивать человека по одежке.

Бедный, бедный Епанешников, или На какой почве свихнулся принц Датский

Принц, как известно, все прикидывал: «Быть или не быть?» И свихнулся. На какой почве? Все на той же, на датской. А в городе Старый Оскол жил Сережа Епа-

нешников, учился в ПТУ, смотрел вокруг, думал обо всем, что видел, и вдруг, к ошеломлению близких, написал философский трактат. Темой трактата стало рассмотрение именно коварного вопроса, который доконал датского принца.

Только Сережа уверял, что перевод этого вопроса сделан неправильно. То есть по форме правильно, по сути — нет. Звучать он должен: «Быть или казаться?» Поскольку, как только человек начинает казаться, так и вступает в состояние небытия. Ведь он перестает быть самим собой, а кого-то или что-то изображает. А для человека естественно, единственно приемлемо и просто-напросто прилично — только быть. Быть самим собой. В любых предлагаемых обстоятельствах.

Но вот людей, находящихся в состоянии бытия, вокруг себя Сережа находил мало, вокруг все бродили люди в состоянии небытия. Все они старались кем-то представиться друг другу, как-то друг друга провести, все играли в какую-то странную игру, в какой-то спектакль. И не только в отношениях между мальчишками и девчонками, где все старались стать похожими — кто на Челентано, кто на Костю Кинчева, не только в отношениях между детьми и родителями, где родители говорили слова одни, так сказать, учили детей жить, а сами жили и вели себя иначе. То же самое видел он и в родном ПТУ: положено посылать учащихся на практику, их и посылают, а практика не организована, никому на заводе пэтэушники не нужны, вот они и бродят между станками, всем мешая, а то и вовсе на завод не являются, а их и не ищет никто. То же самое в самой системе профтехобразования. Учат профессиям, которые на заводе города не нужны, придется выпускникам куда-то уезжать и трудоустраиваться, а между тем городу рабочих рук не хватает: всюду объявления: требуются, требуются! И в комсомольской работе — та же кажущаяся активность, взносы собирают, устраивают фор-

мальные собрания, а на деле комсомол ничего в училище не решает, никто с ним не считается. И так далее.

Знать такое и жить спокойно дальше Сергей не мог. Родители у него люди рабочие, привыкли сами и сына приучили — зря ничего не делать. Поэтому Сергей послал свой трактат в молодежную газету. Вскоре трактат вернулся в город с припиской от редакции, де, мальчика надо показать психиатру. Мальчика показали. Психиатр признал его абсолютно нормальным, не по летам и среде развитым, велел жить дальше спокойно, а трактатов никуда не посылать. Думать все про себя и помалкивать, иначе беды не оберешься.

Мы были в командировке в Старом Осколе, группа журналистов. Сергей пришел к нам в гостиницу, смотрел на нас строго и печально. Он от нас ждал совета: как ему жить, если даже психиатр велел притворяться. Плохо жилось Сергею, потому что попал он в типичное юношеское состояние, когда человек, открывая и исследуя мир, вступает в этап крушения иллюзий, приходит к разладу между желаемым и действительным. Оттого ситуация и показалась ему безвыходной. Мы долго общались, парень он крепкий, можно быть уверенным, что из полосы, когда кажутся особенно острыми несоответствия жизни, выйдет он закалившись, и что идеи своей — исследовать и осмыслить мир — не оставит.

Но я, собственно, и не о Сереже, а о том, что отмеченный мною феномен, назвать который следует, полагаю: «Хочу казаться!» (я бы поставил тут даже три восклицательных знака) — настолько очевиден, что его осознал даже мальчик семнадцати лет. И нашел, кстати, точное и правильное объяснение его возникновения. Мальчик заметил даже не прорехи в воспитательной работе с молодежью, но самый уклон, который работа эта принимала, и зафиксировал результат, к которому направленность привела.

Любопытно, что никакой новой причины ни он, ни я не открыли. Причине имя: формализм. Он просто вы-

нуждал человека, участвующего в формальных действиях, что-либо изображать, показную активность, например. И скоро обнаруживал человек, что жить, притворяясь, значительно легче: никто к тебе не придирается, своего мнения ни перед кем отстаивать не надо, поскольку о своем мнении ты молчишь, а заявляешь общепринятое. И все тобою становятся довольны. И можешь, при желании, так притвориться, что и других под себя подомнешь. И сделаешь карьеру.

А друг перед другом пай-мальчики играли в д'Артаньянов, храбрецов, молодцов, и при этом — врагов кардинала. И все понимали, что при первом же удобном случае д'Артаньяны пойдут к кардиналу на службу, глазом не моргнув, но все вокруг великодушно закрывали на это глаза.

А происходило все это не в тридевятом царстве, все на той же, на нашей, почве. И если вы думаете, что все это куда-то исчезло сегодня, то, боюсь, сильно ошибаетесь. И все это типичные случаи небытия.

Стремление казаться, проникнув в сознание, часто настолько становится органичным, с сознанием слитым, что человек уже и отделить не может: вот я, а вот моя маска. Но жизнь в небытии губительна для личности. И — рано или поздно — наступает кризис.

ЗАЧЕМ ОНИ ДРУГ ДРУГА БЬЮТ?

Все происходит так быстро...

Вот письмо человека, который увидел и сделал вывод:

«Из публикаций в газетах, из неоднократного увиденного в жизни я сделал вывод: в среде молодежи нередко молодому человеку приходится терпеть оскорбления, унижения, издевательства других. Конкретный случай. Учащиеся профтехучилища с улицы Семашко

едут в автобусе после занятий. Двое, из ПТУ железнодорожников, сидят на заднем сиденье. Когда автобус приближается к остановке, семь или восемь ребят из училища киномехаников начинают вдруг избивать этих двух сидящих. Бьют остервенело, с необычайным озлоблением, как и по чем попало: кулаками, ногами, сумками. На остановке вся избивавшая группа мгновенно выскакивает из автобуса. Все происходит так быстро, что пассажиры едва успевают понять, что произошло.

Или другая реальная ситуация. В одном из престижных вузов староста группы, отличник учебы, постоянно оскорбляет одного из студентов, агитирует других студентов делать то же самое, распространяет гнусные слухи, чтобы уязвить свою жертву. Такое занятие доставляет ему большое удовольствие. Ну а комсорг группы? Он сам участвует в очередном глумлении.

Объяснить такие проявления жестокости лишь юношеским максимализмом и несдержанностью нельзя. Очевидно, в среде молодежи эти действия являются нездоровым способом разрядки, подчеркивания своего «превосходства» над другими, самоутверждения.

Можно услышать различные объяснения происходящего. Несомненно одно: зло является поразительно живучим потому, что не встречает должного отпора и общественного осуждения. Не припомню комсомольского собрания, где бы обсуждались подобные факты. Я считаю, что комсомол уделяет недостаточно внимания описанной мною проблеме.

Шохан Николай Петрович, ведущий инженер научно-производственного объединения «Гранат». г. Минск».

Что же это с нынешними молодыми людьми? Отчего они у нас стали такие злые? Отчего травят друг друга? Да еще и с удовольствием?

Генезис «нездорового способа разрядки»

Вовсе не вдруг все произошло. Давным-давно уже хаживали молодые люди улица на улицу, двор на двор. И разве 10 и 20 лет тому назад не выясняли они порой отношения и с помощью кулака? Может, сегодня что-то в принципе изменилось? Вот-вот. И не только масштабы. Характер выяснения отношений. И причины.

Лет двадцать назад во всем виноватой считали улицу — стоит ребенку, полагали взрослые, только выглянуть на нее, как она цап невинное дитя — и вот он уже «трудный». Педагогика разводила руками: в школе и дома он наш, мы его и воспитаем, и научим, сил не пожалеем, а там... там подросток недосягаем. Не наша территория. И требовала от комсомола организовать наконец-то внешкольную работу.

Лет десять назад оказалось, что именно на территории семьи и школы случаются все просчеты, здесь порою так воспитывают детей, что буквально выталкивают их на улицу, а потом — да, потом умывают руки и заламывают: бессильны!

Так вот где таилась причина всего! Педагогика онемела. К счастью, в жутком состоянии находилась она недолго. Вскоре психологи и юристы, которые тоже стали вынуждены происходящее как-то объяснять, подбросили, наконец, блестящее толкование. Оказывается, все уличные нападения детей на прохожих — есть преступления немотивированные. Понимаете, в чем дело? Встретили вас, например, в подворотне подростки, нанесли телесные повреждения, вы думаете: что это с ними такое? А они сами не знают. И никто не знает. Они — ни с того ни с сего. Шли, шли по улице, вдруг напали. Вам теперь легче?

Представляете, с каким облегчением перевела дух педагогика: и снова она невинна, и снова можно на какое-то время забыть об этих хулиганах. Ни с того ни с сего — это вне ее компетенции, это уж пусть медицина.

Да, были славные времена, когда подростков так легко было делить на чистых и нечистых: трудных, до кого руки уже не достают, и нормальных, благополучных детей, наших, которых, главное — не упустить, сохранить, уберечь. И вдруг — плюх! — правонарушения принялись совершать именно наши, тихие, покладистые, воспитанные, никуда дальше семьи и школы не ходившие, отличники и активисты. Вот это был удар. Такой подлости от окружающей действительности педагоги не ожидали: открываешь «Комсомольскую правду» и — нате! — комсомольский активист зарезал знакомую девушку. Чем дальше, тем страшней.

И ничего не осталось, как вернуться к давнему, изначальному, десятилетиями освященному объяснению происхождения правонарушений. И пишет Николай Петрович: «Зло является поразительно живучим потому, что не встречает должного отпора». А кто задолжал с отпором-то? Да все тот же комсомол, который «уделяет недостаточно внимания».

Дать отпор призывают чаще всего и журналисты, живописующие хулиганство. По здравом размышлении — довод неотразимый. Дашь хулигану отпор — он больше не будет, а другим неповадно станет.

Но ведь и давали вроде, а все повадно. Чертом выскакивает жестокость и насилие в самых неожиданных местах, там, где всегда было крепко и надежно. Вот почему неописуемо наше изумление всякий раз от сенсации: жил-был хороший мальчик и вдруг ближнего изувечил.

И вот выхожу я ввечеру из подъезда, на лавочке тусуется несколько старшеклассников из нашего же дома, все мои знакомые из благополучных семей, из расхваленной спецшколы, что тут же, за забором. Они вежливо здороваются, просят прикурить, застенчиво улыбаясь, выслушивают нотацию о вреде курения, чинно острят, я ухожу. Они удостоверяются, что дяденька достаточно далеко, и к ним возвращается обычная их уличная речь,

слышу, кто-то прихватил кого-то, тот взвыл, заржали дикими сиплыми голосами, и через скверик к ним уже спешат подростки-девчушки, такие мамины дочки, разодетые в пух и прах, с пухлыми же мордочками, глазенки сияют, такие котята, вырвавшиеся на свободу, такая стайка цветов, торопятся к своим мальчишкам и, проходя мимо незнакомого дяденьки, не притушают голосов, поэтому дяденька выслушивает из ротиков отборный мат, произносимый голосами столь же сиплыми, что и у кавалеров. Это одна объясняет другой, что второпях забыла сунуть в сумочку помаду.

И, уже издалека оглянувшись, видит дяденька, как мальчики разобрали, наконец, девочек, и стоят, обнявшись и покачиваясь, каждый со своей, и что-то они друг другу нашептывают (как сказали бы прежде, сейчас слово нужно другое, скажем, нахрипывают теми же похабными клише) о том, как соскучились и как хорошо, что они снова вместе.

Нет, дорогой читатель, ничего немотивированного не бывает. Если, конечно, совершатели поступков не умалишенные. Все прекрасно мотивировано. Чуть ниже я к этому вернусь, сейчас же хочу отметить лишь обстоятельство, свидетельствующее именно о том, что дети наши далеко не умалишенные. Умом они еще как наделены. Мы и наделили. Нашим умом. Потому благополучные отличники, пораскинув мозгами, и научились однажды, чтобы нас не встревожить, носить личины, казаться такими, какими мы желаем их видеть. О чем, кстати, глазом не моргнув, на всю страну и на всю ее школу и заявил один из героев фильма «Легко ли быть молодым?». Они научились носить маски для того, чтобы мы от них наконец-то отстали. Они в последнее время прекратили даже выяснять со взрослыми отношения в темных переулках, вы не замечали? Они решили больше с нами не связываться.

Да им и не до того. Среди сверстников у современного подростка дел вот по сих пор. Они занялись друг

другом. А друг для друга надевают они маски страшилищ и суперменов. И вот я уже и не знаю, а где же у них свое-то лицо? Как выглядит?

Вовсе не распространяю сказанное на всех подростков. Те мальчишки и девчонки, что погрязли в каком-то увлечении — компьютерами ли по уши заняты или сочинением текстов и музыки, — никаких правонарушений не совершают. Я о других, ряды которых растут, к сожалению, о тех, что сами не знают, что им делать с собой и для чего они тут, среди нас. Наделив их умом, мы забыли дать им дело для употребления ума. Вот они сами и подыскивают для него пищу.

Я лишь о тех, на ком маски: к нам обращена та, что с застенчивой улыбкой, к сверстникам та, что с клыками. Для чего клыки? Для совершения ими действий. Вот и пишет Николай Петрович: «в среде молодежи такие действия являются нездоровым способом разрядки, подчеркивания своего «превосходства» над другими, самоутверждения».

На «своей» территории

Нуждается ли молодой человек в разрядке — вопрос риторический. Того количества стрессов, которое обрушивает мир на юный организм, достаточно, чтобы его раздавить, и давит все чаще — статистика детских и подростковых самоубийств не даст соврать. Душевное перенапряжение нуждается в громоотводе, им, кстати, прекрасно становится то самое дело (если нашел его себе подросток), что питает и развивает мозг и спасает его от избыточного заряда. Дело и самоутверждает маленького человека. Оно — гарант и будущего утверждения.

А самоутверждение необходимо всякому подростку — плохому и хорошему. Душа, не подпитываемая самоутверждением, вянет и становится уродом. И вроде бы всем это очевидно. Так же как два пути, по кото-

рым движется несформировавшаяся душа. Первый, на котором человек становится социально вял, наклонен к необщепринятым способам извлечения из жизни удовольствий, замыкается, угнетен, деградирует. И второй, на котором он научается изворачиваться и хитрить, чтобы таким образом ввинтить себя повыше, стать позначительней, создать хоть иллюзию, но превосходства.

Точно так же все уже согласны, что способов самоутверждения в нашей жизни для молодых — маловато. Потому и склонны многие самоутверждаться «нездоровым способом». Но «нездоровые способы» для одиночки занятие ой непростое, а часто и небезопасное. Потому и сбиваются они в команды. Они самой жизнью принуждаются становиться коллективистами. Правда, со знаком минус. Так сказать: неутвердившиеся всех школ и ПТУ — соединяйтесь!

И вот две их приметы: коллективные действия и исключение себя из мира взрослых.

Я захожу в кафе, где расположилась группа мускулистых ребят в клетчатых штанах, на входе два, клетчатых же, наблюдателя. Их задача — обнаружение и недопущение в кафе «чужих». Это «их» кафе, «их» территория, и нарушитель границы карается жестоко. Что и произошло чуть позже, когда орава клетчатых вывалила на улицу, чтобы прогнать пару кожаных курток в заклепках и цепях. Прогнав, все вернулись допивать оставленные коктейли, отряхивать пыль и смаковать перипетии одержанной виктории.

А кто же я? Стоявшие на входе не шелохнулись, когда я шагнул в дверь. Муха пролетела. Я не «свой», не «чужой». Я — взрослый. Ничто, тень, пустое место. Если случайно я и попадал в зону чьего-то взгляда, то взгляд этот был сквозным. Я выпил свою чашечку кофе и удалился, оставшись невидимым. Я был из другого измерения.

Вспоминаю письма, пришедшие в течение последнего года из разных мест страны, авторы которых сосре-

доточены на одной идее. Они спрашивают: нельзя ли выделить для молодежи некое место на земле, где взрослые оставили бы их в покое и позволили жить там так, как сами молодые желают. Один называл будущее райское место спортивно-трудовым лагерем, другой «долиной мира», они предполагали там работать, организованно проводить досуг, в общем, жить по схемам, ничем принципиально не отличающимся от того, что принято и у нас, взрослых, но — только без нас. Третий, помню, писал: «Все равно вы все скоро вымрете, мы придем к управлению страной и хозяйством, но мы не умеем хозяйствовать и управлять, позвольте нам научиться. Ведь никогда же взрослые не допустят нас командовать ими. Сколько же нам ждать? Пока станем старыми и уже ничего не будет нам интересно? Дайте нам пожить сейчас!»

Как видите, идея «своей», независимой территории созрела уже и как некая теория. Во всяком случае, на сегодня нам ничего не остается, как констатировать, что пока суть да дело да переписка с редакциями, подростки, не дожидаясь той поры, когда мы начнем к ним прислушиваться и выделим «территорию», создали ее сами под нашим носом, на наших глазах, освоили и даже разделили на сферы влияния. Они называют ее и то, что на ней происходит (и создается, если речь идет о молодежной субкультуре, здесь рождаемой), — «андеграунд».

«Их» территория всюду — в школах, ПТУ, дворах, на улицах, в подвалах, в автобусах даже, как видим. Разделяя сферы влияния, дети наши и одеваются поразному, чтобы не мучиться, отличая «своих» от «чужих», чтобы с первого взгляда было ясно: кого «ломать», кого «мочить», а кого и «гасить». Ну и «винтить», если есть такие возможности. При этом те или иные группировки вроде бы ничем, кроме носимой одежды и географического положения, друг от друга не отличаются. Ни социальным положением родителей,

ни образованием, ни доходами. Но ходят и ходят друг на друга войной: бритые наголо на волосатых, с черным галстуком селедкой на тех, кто в кепке, и, видимо, разряжаются и самоутверждаются.

Хорошо, а что делят те, кто и одеждой друг от друга не отличены: все в одинаковых школьных формах, например, учатся в одном классе, те благополучные, что, взявшись друг друга истязать, приводят в панику педагогов и родителей? Вот где она, чистая немотивированность.

Нет ее, нет, есть наше желание мотивов не искать. Потому что, если искать, мы придем к самим себе. Все окажется в нас. А мотивы у одетых одинаково и разно — одни и те же. И наш отпор юным правонарушителям есть борьба с результатом. Лечение симптома причину болезни не устраняет. В организме что-то однажды разладилось, и пока не найдем неполадку, пока не наладим, никакая «подчистка» симптомов не поможет.

В поисках справедливости

Что случилось с организмом, то есть со всеми нами, мы теперь знаем. Именно пятнадцать пресловутых лет хаоса в экономике, торможение механизмов демократии, гласности, бюрократизм в отношениях на всех уровнях, нарушения социальной справедливости — и есть общая причина заболевания. Сейчас организм очнулся, лечение уже идет, но непросто оно и не исцелит всего разом.

Заболевание выплеснулось наружу несколькими глазом незаметными признаками, один из наиболее очевидных — дегуманизация отношений. Жесткое отношение друг к другу на всех уровнях и во всех, пожалуй, ипостасях. Мы обеспокоены тем, что молодежь выясняет свои отношения с помощью кулаков, мы спраши-

ваем: откуда это, у кого они набрались? Мы же не деремся.

Ну зачем нам драться кулаками, если способов жестоко и даже беспощадно обращаться с теми, кто, по нашему мнению, этого заслуживает, изобретено нами столько, сколько молодым и не снилось? Примеров бесчеловечного обращения взрослых друг с другом та же пресса дает не меньше, а, пожалуй, и больше, чем стычек среди молодежи. Но примеры эти — бескровны. Хотя историй, когда был затравлен человек с помощью мер административных, общественного воздействия, да еще и со спекуляцией на святых понятиях, с клеймением преследуемого не просто как нерадивого работника, но прямо как идеологического противника, таких историй предостаточно. Бывает, что жертва и руки на себя накладывает. Это у нас-то, мирных, не прибегающих к кулакам.

У молодых иначе. Подростки не владеют столь же хитроумными системами уничтожения или подавления противников, но они — наши дети, видят и слышат все, что происходит вокруг, и желание давить противников у них порою ничуть не меньше. У пап и мам научились.

Удивление типа: как это у интеллигентных родителей вырос такой порочный ребенок — свидетельствует о чем угодно, только не о том, что и у хороших родителей могут вырасти плохие дети. Не могут. У хороших родителей дети вырастают хорошими всегда. Это аксиома. А вот понятие интеллигентности у нас так резиново растянулось, что туда сегодня подверстывается любой человек, не занятый физическим трудом, от счетовода до любого администратора. Самый махровый бюрократ и чиновник, взяточник и угнетатель подчиненных, всю жизнь травивший новаторов и правдоискателей, с полным правом, согласно сложившейся ценностной ориентации, считает себя интеллигентом. И все считают. Это понятие перестало относиться к категории нравственной.

Ценности такого папы, его житейские правила, его трепетная забота о сохранении собственного престижа и благ, которые дает престиж, самый выбор «друзей» для постоянного общения и совместной защиты отхваченного пирога (при откровенных оценках реальных деловых и человеческих достоинств «друзей» — в семейном кругу) — все впитывает отпрыск. И растет из него такая же мордастая скотина, признающая в жизни только локти, зубы и кулаки.

Послушайте, о чем разговаривают в таком кругу. Любимая тема: кто куда оказался выдвинут, кому какой достался пост, к каким благам прибился человек. Нет для этих «интеллигентов» темы слаще и актуальней. Услышите такой разговор — вы попали именно к этим ребятам. Сто процентов гарантии. Заплывший жиром интеллект автоматически рождает жестокость друг к другу, еще бы: каждый, кто рядом, в любой момент может выхватить кусок изо рта, отпихнуть от кормушки. Потому их жизнь — борьба. И не на жизнь, а на полное уничтожение конкурентов.

Дети таких родителей вступают на путь отцов — естественно. И рождаются «мажоры», «хайлафисты», задаром получающие все, но уже готовые в будущем никому ничего не отдать, готовые к борьбе. Реже появляются дети, возненавидевшие жизнь отцов своих ненавистью, вполне сравнимой с той, что отцы питают к конкурентам. Вот вам уже и разделение на лагеря.

А дети иных родителей, находящихся в подчинении у папы-«мажора»? Эти дети тоже наблюдают жизнь не из вагонного окна, страдают, когда всемогущий скот унижает его папу или маму, прекрасно видят, как пресмыкаются родители перед хамом, холуйствуют, объясняя при этом ребенку, что так уж устроена жизнь. Иногда восстают, и тогда ребенок видит, что выходит в результате бунта. Эти дети также выбирают два пути: пробивания наверх, и тут все средства хороши, и — борьбу с теми, кто холуйствует и пробивается. Еще од-

но разделение. И между разделившимися — почти классовая борьба.

Все чаще в этих «играх во взрослых» взаимоподавление ведется не ради сладости от ощущения собственного превосходства, а для того, чтобы утвердить свои жизненные ценности, свои идеи, представления о том, как должен жить человек, для того, чтобы заставить противную сторону с ними считаться. Заставить ее, если сопротивляется, жить так, «как надо». Объединяясь в группы, они называют себя вовсе не как попало. Они называют себя: «Комиссары» и «Быки», «Пацифисты» и «Черная сотня». Они знают, «как надо». Но если одни хотят равных возможностей для всех, хотят справедливости, вознаграждения добра и наказания зла, то другие хотят возможностей лишь для себя и готовы уничтожить тех, кто считает иначе. У них есть что отстаивать помимо территории. Примирить их непросто.

Почему ошибся журналист

Вспоминаю очерк «Две версии одного происшествия», опубликованный в журнале «Молодой коммунист». Речь в нем шла о том, как «пятеро старшеклассников, выпускников лучшей в городе школы, накануне «последнего звонка» зверски избили своего товарища, причем без всякой серьезной причины, по пустяковому поводу». С сотрясением мозга мальчишка попал в больницу, до сих пор здоровье его нарушено, он теряет зрение. Казалось бы, все ясно, пятерых надо судить и наказывать, но долгое время суд не мог состояться.

Почему? А потому, что защитники пятерых обнаружили **мотивы** их поступка и эти мотивы оказались трудным орешком для тех, кому предстояло решать их судьбу.

Оказывается, пятеро били не просто своего одноклассника, а нравственного урода и редкостнейшую дрянь. Он был жаден и подл, мелочен и труслив, он был

одним из тех хитрых проныр, что готовят себя к пробиванию наверх, растерявших все моральные и нравственные качества, которые должны быть у человека. «Постепенно, — писал журналист, — приходило к его одноклассникам это понимание. А вместе с ним и осознание собственного бессилия, потому что порядки в этой жизни устанавливали не они». Пятеро наказали одного, «не найдя в «официальных» способах воспитания своего одноклассника ничего для себя подходящего».

Сложная и в то же время типичная для нашего времени ситуация: имеет ли право хороший человек на самосуд над плохим, и если нет, то что ему делать? Как жить рядом со злом, не вмешиваясь, терпя?

Понимаете, что происходит? Всегда, во все времена плохие били хороших. Всегда «наших». И так хотелось, чтобы добро отрастило себе наконец-то кулаки и хоть разок бы да врезало злу. И журналист, услышав объяснения защитников пятерых, тут же откликнулся на их модель случившегося, заостряя внимание на противоречии: и справедливое возмездие бывает незаконно.

Увы, состоявшийся вскоре суд определил, что произошло все, к сожалению, так, как и всегда: плохие били хорошего. И суд назвал происшедшее преступлением, умышленным, согласованным, групповым. И доказал это. И наказал пятерых.

Почему же ошибся журналист? Именно потому, что ложная версия показалась ему куда более реальной, чем правда. Слишком отвечала она духу времени. Слишком часто в последнее время совершаются похожие самосуды. Слишком часто, «не найдя» в «официальных» способах ничего для себя подходящего», подростки решают сами стать и судом и палачами.

Как-то и «Комсомольская правда» рассказывала о группах самодеятельных следователей, «детей Деточкина», которые, не веря в способности правоохранительных органов навести порядок, сами принялись заводить «дела» на местных жуликов и взяточников и сами ста-

ли их наказывать, изымая, а то и уничтожая наворованное.

Защитники пятерых, создавая свою версию, пользовались, по сути, уже сложившейся и апробированной системой аргументации: надо бороться с «накипью», с людьми, вредными для общества, с врагами его. И позиция их подзащитных сразу налилась силой, перед которой чуть было не дрогнули прагматики, которые все сводят к употреблению в деле кулаков. При чем здесь кулаки, когда высоки и благородны мотивы!

И вот уже в «Студенческом меридиане» читаем публикацию «Я их ненавижу...» А. Невского о суде, слушавшем дело двух студентов, бывших демобилизованных воинов, которыми овладело желание навести порядок в городе, а для этого заставить всякую «накипь» убраться с его улиц. Пусть хоть и при помощи кулака. Вот они ввечеру и взялись за двух ребят, выглядевших не так, как хотелось бы борцам. Одного подростка они убили, другого искалечили. «Я не хотел убивать Дружинина. Я только хотел проучить эту «накипь», позорящую нашу молодежь», — сказал главный герой истории. «Мы, конечно, переборщили, но ведь невозможно больше терпеть этих нравственных дебилов!» — добавил его товарищ. Но кто же опозорил нашу молодежь в результате?

Беда искоренителей «накипи» в том, что они не за мальчишек сражаются, а — против них. И в том еще беда, что побуждения искоренителей питаются и поддерживаются многими.

Все за — кто против?

Что позволяет мне сделать такой вывод? Практически все читатели, за редким исключением, откликнувшиеся на очерк «Две версии одного происшествия» были единодушны. Вот лишь несколько высказываний:

«Я — замполит одной из дальневосточных погра-

ничных застав. Мне скоро 23 года. На мой взгляд, человек, подобный пострадавшему в очерке, полностью чужд тем социалистическим идеалам, к которым мы стремимся в воспитании личности. Поэтому такие обречены на вымирание. Но сами вымирать они не желают. Значит, налицо необходимость как-то воздействовать на них и им подобных. Как бы я сам поступил в такой ситуации? Может быть, разок бы и врезал. Права на самосуд ребята, конечно, не имеют, но они имеют право на **поступок.** Константин Тимофеев».

«Таких, как этот Андрей, надо уничтожать, как бешеных собак. Мне 22 года. Рождественский В., Салават, Башкирия».

«Мне 17 лет, я девчонка. Этим летом к нам с подружкой пристали человек 8 пьяных девушек, а нас 2. Ну, что поделаешь, пришлось драться. А то, что мальчишки дрались, так ведь, в конце-то концов, они же мужчины. А мужчины должны быть сильными. Светлана П., Казахская ССР».

«Я считаю, что судить этих юношей не надо, потому что в их душах проснулись те качества, которые присущи настоящей личности. Я их сверстница, мне 19 лет, учусь в педагогическом училище, буду воспитателем. Котляренко Н., Новокузнецк».

И так далее. Вы заметили, что самый факт избиения как-то отходит на второй план, микшируется, а то и прямо обеляется. Ну подумаешь, кого-то покалечили, главное, что в душах проснулись качества, главное, что мужчины. Личности. При чем здесь самосуд? Это — поступок!

И пример дегуманизации отношений, которая и оказалась выплеснута наружу, как симптом того напряжения и тех противоречий, что накопились в нашей жизни. Обратите внимание — нет речи о доброте, терпимости, просто жалости, все это слюнтяйство давно позабыто. Жесткость в обращении друг с другом — норма. А разговор сразу взвинчивается высо-о-ко: благо-

родство, рыцарство. С каких же это пор благородство, рыцарство и иные свойства, «присущие настоящей личности», стали свободно обходиться без доброты, сочувствия, жалости?

Много было таких писем. Много. Лишь три изо всех как голоса вопиющих в пустыне, твердили о другом. При этом два были голосами взрослых:

«А факт остается фактом: пять здоровых парней били своего товарища так, что он до сих пор находится в больнице и, возможно, останется инвалидом. Автор статьи оправдывает хулиганов тем, что пострадавший, со слов бивших его (пять против одного), был плохим товарищем, скупым, трусливым, без самолюбия. Но каким бы он ни был, кто дал этим парням право устраивать самосуд? Да как же комсомольская организация могла их оставить в комсомоле? Бельгова М. А., кандидат технических наук, старший научный сотрудник».

«Каким бы плохим ни был Таранов, его товарищам, уже вступившим в самостоятельную жизнь, следовало знать, что у нас человек — неприкосновенное лицо. Директор школы говорит, что школа у них образцовая. Это пустословие, в образцовой школе дети не станут избивать друг друга. Борис Хирия, старший следователь, Тбилиси».

И единственный голос — сверстников:

«Молодец Раскольников, что старуху убил, жаль только, что попался!» — много лет назад эту цитату из школьного сочинения произносил в спектакле «Преступление и наказание» Свидригайлов — Высоцкий. Автор статьи забыл главное: каждая человеческая личность универсальна и бесценна. Тем более что речь идет о семнадцатилетнем подростке. Даже со всеми его недостатками, в которых повинны, кроме него, родители, педагогический коллектив, **его товарищи.**

Нас как будущих педагогов не могут не волновать две проблемы: проблема возникновения комплекса неполноценности ребенка под влиянием детского коллек-

тива и проблема права судить кого бы то ни было другого, применяя при этом физическую силу. Ирина и Иветта Красновы, студентки филологического факультета Карагандинского государственного университета».

Несколько слабых голосов, восклицающих: не бить! Личность суверенна! — тонут в мощном хоре, имеющем свой резон: бить, потому что «накипь», а значит — уже не человек. Значит — вне закона. Спор, заметьте, сразу перемещается в иные плоскости. Где главное — выяснить: «свой» перед нами или «чужой». Чужой — враг, ему нет пощады. Наследие тех еще времен, когда утверждение «не наш» было равно приговору. И, уже не уточняя: было или не было нарушено право, — названный карался. Наследие и тех времен, когда та или иная мафия, исходя из собственных законов, могла затравить любого. И те, кто наблюдал это лишь со стороны, тоже привыкали к мысли: писанный на бумаге закон можно обойти, непреодолим неписаный. А для него так же, как и прежде, значение имело лишь — «свой» ты или «чужой».

И лишь одно забывалось постепенно в этом сражении, и сейчас восстанавливается и вспоминается непросто, — ничто не проходит безнаказанно. Не прекращается зло, если бороться с ним злом. Зло порождает зло. И никогда — добро. Не только перед законом ответственны травящие и бьющие, но перед нравственным здоровьем поколений.

Отчего сражаются мальчишки там, на «своей» территории, играя во «взрослую жизнь»? Не оттого ли, что произошло размывание наших нравственных ценностей и это мы, взрослые, виноваты в том, что их не уберегли и не сумели вложить в души наших детей? И думаю я, до тех пор не прекратятся побоища, пока не допустим мы наших детей на равных участвовать с нами в общей нашей жизни, общие решать проблемы, исправляя реальные беды, участвовать в реальной перестройке. Пока не научатся они не самосудам, а самоуправлению, пока

не позволим мы им не просто заработать себе на одежду или магнитофон, но узнать: почем заработанная копейка. До тех пор останутся для них нравственные наши ценности за семью печатями, и будут они создавать и отстаивать свои.

А мы рассуждаем глубокомысленно, развалившись в креслах на телеэкране: кормить ли их, неблагодарных, сбившихся вон там, на «лестнице», дальше, держать ли по-прежнему на своей шее или дать все-таки поделать что-нибудь собственными руками? И все не можем никак на что-то решиться. А они уже пустили руки в ход.

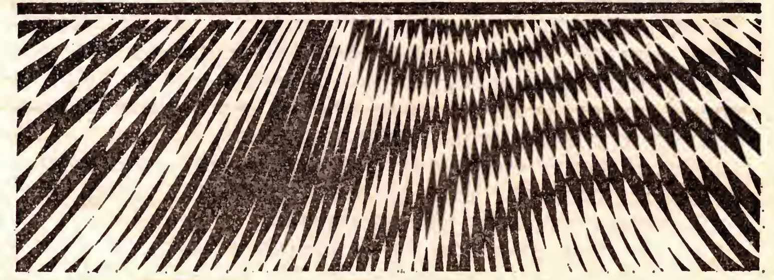
Так может, прекратим упражняться в красноречии и попробуем дать их рукам иное занятие? Возможность реально самоутверждаться среди нас, например? А значит — быть, а не казаться!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СДЕЛАТЬ СЕБЯ





ПЕРВЫЙ УРОК

Передо мной два письма. Инженера Ольги Борисовой и учителя Андрея Окаемова. Письма схожи тем, что авторы их оказались противопоставлены своему окружению.

Друзья и однокашники Ольги Борисовой «устроились» в жизни тем или иным способом, отложив дипломы «на черный день». А она «устраиваться» не захотела. «Не хочу жить их жизнью», — написала Ольга Борисова и, хотя живется ей материально трудно и одиноко, менять свою жизнь не собирается, а собирается обстоятельства «одолеть». То есть она сознательно выбрала себе позицию и не без вызова называет себя «ненормальной». Андрей Окаемов, напротив, считает себя вполне нормальным, а в своей обособленности не виноват, так сложились обстоятельства: он создал в школе, где преподавал, клуб любителей искусства «Прометей», но «клуб — пал, сраженный анонимкой». И теперь Андрей в отчаянии: «Никто не хочет выслушать, понять. Честное слово, руки опускаются, когда вот так, лоб в лоб, сталкиваешься с обывательщиной». Он намерен школу оставить, при первой возможности перебраться в другое место, готов отступить.

Но обратите внимание: ни Ольга, ни даже Андрей не просят помощи. Чего же они хотят? Вот здесь важный момент. А хотят они одобрения.

Ольга Борисова потому написала в редакцию, что у нее наболело. В самом деле обидно: живет не сгибаясь, не ища легких путей, но даже доброго слова в награду не слышит. А у тех, кто отступил, никаких там страда-

ний, сомнений — веселы, уверенны, материально независимы, интересуются: «Тебе еще не надоело мыкаться? Может, начнешь наконец жить, как все?» Проще говоря, тому, кто живет правильно, — плохо, а тому, кто неправильно, — хорошо. Где справедливость? Андрей Окаемов пришел в свою школу с самыми лучшими намерениями, а в ответ — зависть и злоба. Несправедливо.

О несправедливом устройстве мира сообщали нам они.

То есть понимаете, что происходит? Жить, как в школе учили, как в книгах написано — значит получить взамен лишь возможность при случае заметить о себе: мол, «беден, но честен». А представится ли случай? Чаще в лицо смеются: ну и сиди со своей честностью! Глухо вокруг. Вот почему пришлось писать в редакцию. Рассказывать самим о себе. Должны же были в огромной стране найтись люди, способные понять, разделить, поддержать, а возможно, и научить. Кто-то должен услышать.

Читатели услышали. Правда, каждый свое. «Важно не бояться любых сложностей и препятствий, которые возникают на нашем стремительном пути вперед, — советовал Ольге и Андрею пропагандист В. Ф. Руднев. — От каждого из нас общество ждет осознанного и активного социального действия. Ум, риск и смелость — вот главные приметы нашего современника...» И так далее. «И потому я уверен, — завершал В. Ф. Руднев свое обращение, — что большинство читателей, которым журнал задал столь актуальный вопрос: «Отступить или одолеть?», ответят на него без сомнений: «Конечно, одолеть!», подтвердив свои слова делами, поступками, энергией».

Увы, большинство читателей не знали, что В. Ф. Руднев за них поручился, и его ожиданий не оправдали. Был, правда, читатель, который жизнерадостно уверял Андрея Окаемова, что никуда уезжать не надо, что клуб

закрыт «временно», а гонители вскоре одумаются и снова его откроют. Но и он призывал бедного учителя не одолевать, а подождать, так сказать, потерпеть. Большинство же как раз сильно сомневалось, что одолеть обывательщину запросто удастся. Одолевать, конечно, надо, положено одолевать, иначе стыдно, но вот веры в удачу маловато. Некоторые читатели предлагали и не одолевать, и не отступать, а плюнуть на гонителей и ехать к ним, здесь у них все условия для клуба «Прометей» есть, лишь Окаемова не хватает.

Нам сейчас важно заметить вот что: большинство откликов свидетельствует о том, что молодежь оценивает свои возможности совершенно иначе, чем от нее требуют: «Нам говорят, что надо бороться, — пишет Галина Крючкова из Каменска-Уральского Свердловской области. — Да поймите же, что в таких условиях бороться очень трудно». — «Трудно, очень трудно, — вторит ей Наталья Кудря из Донецкой области, — бывает иногда отстаивать свои убеждения». Почему? «Засилье бюрократизма, море инструкций, указаний топит живую мысль, порождает пассивность», — отвечает студент Роман Алексанов из Жуковского Московской области. И какова бывает плата за попытку одолевать обстоятельства, рассказал в ходе дискуссии писатель Диас Валеев. Капитан милиции, выступив против очковтирательства, решил стоять на своем до конца. Одиннадцать лет бился, по сути, в одиночку, хоть временами и одерживал победы. Он остался верен себе. Вот только организм его не выдержал, капитан стал инвалидом. Достоин ли он глубочайшего уважения? Еще какого! А сами вы не хотите повторить его путь? Вот то-то.

Не потому ли и отступивших вокруг нас — не протолкнуться, а где же одолевшие? Их приходится отыскивать. Завидую я Рудневу, советующему с уверенностью необыкновенной «не бояться любых сложностей и препятствий», но не рискнул бы испытать его, попросив реально помочь Галине Дмитриевой из Новосибир-

ской области, которая пишет: «Вот уже 10 лет дышу «гнилью болотной»... в селе, где мы живем... как на кретинов смотрят на тех, кто покупает книги... бескорыстно помогает людям... Мне страшно, что в такой среде растут мои дети...» И тому подобное. Полагаю, что я поставил бы В. Ф. Руднева в исключительно неудобное положение, поскольку слова о «нашем стремительном пути вперед», так же, как и о главных приметах нашего современника, Галина Дмитриева, несомненно, уже слышала и читала не раз, а видит другое, так что ей не фразы, а вполне конкретное знание нужно — что делать?

Вот здесь я хочу сделать одно уточнение. В письмах речь идет именно о том, что видят молодые люди в жизни, и, надо сказать, картина действительности, нарисованная ими, выглядит весьма мрачно. Однако составить себе представление о реально существующей в нашей жизни несправедливости из откликов вряд ли удастся. Почему? Да потому, что мало увидеть, увиденное надо понять, замеченная несправедливость должна бы стать поводом не для отчаяния, а для размышлений, однако многие, как правило, не истолковывают ее, а моментально абсолютизируют. И она заслоняет мир.

Да не обидится на меня Андрей Окаемов, но что такое, по большому-то счету, крах его клуба? Что, жизнь на этом закончилась? Несправедливость восторжествовала тотально и на веки веков? Да ничего подобного. Потрачены силы, нервы, отравлено настроение, но нет никакой трагедии. Более того, если эта история способна сломать человека, то немногого же он стоит. Простите, Андрей.

Оттого многие читатели не знают, чем помочь авторам двух первых писем, что вся жизнь, целиком, кажется им беспросветной. О чем же сами-то они писали? А они рассказывали собственные истории.

Вот некий А. К. отправился работать в сельскую амбулаторию, потому что в деревне ему пообещали

дать квартиру. Работать он собирался как следует, принялся свою амбулаторию ремонтировать и приводить в порядок, однако с изумлением заметил, что, кроме него, никому это не нужно и помогать ему никто также не намерен. А. К. тогда взял и решил: «Ах так! Ну и я буду работать «от» и «до», стану «бумажной крысой». И стал. «Ну и что же сейчас? — пишет он с глубоким сарказмом. — Как все было, так и есть, ничего не меняется». А квартиру ему, между прочим, так и не дали. Ну что ему осталось думать об окружающей действительности?

Читатель Николай С. с горькой усмешкой описывает безобразия на стройке, откуда все бегут из-за плохой организации дела, грубости начальства, массы ручного труда и мизерных заработков. Нет предела возмущению Николая С. Сам он, однако, на этой стройке работает вот уже пять лет. А-а! Так он тут борется, так сказать, «одолевает» рутину? Да нет, ему здесь жилье обещали, вот он стиснул зубы и решил все перетерпеть.

Оба читателя негодуют, описывая равнодушие окружающих. А чем же они сами-то от соседей отличаются, те тоже перетерпливают, я даже допускаю, что кто-то из окружающих Николая С. с гневом написал бы о нем самом как о человеке, попустительствующем развалу. И был бы прав ничуть не меньше.

Как видим, особенность таких писем, а их немало, в том, что продиктованы они личной обидой автора на обстоятельства. Никто, за редким исключением, не пишет о чужой беде. Мои неприятности — это да, это трагедия. То, что дано другому, меня волнует, потому что это несправедливо по отношению ко мне. Почему вон у того есть все, хотя он ничуть меня не лучше. Он даже хуже, потому что он — кто-то там, не знаю. А я — это я. Мне-то это совершенно очевидно. «Как же так получается, — спрашивает Николай С., — у одних есть все, квартиры, машины, ковры, а ни одна мозоль их руки

не украшает? А тут вкалываешь так, что, бывает, еле ноги тянешь от усталости, не пьешь, не куришь, а денег как не было, так и нет».

Да нет же, вовсе я не за то, чтобы все разом замолчали и смирно принялись дальше поддакивать самодурам, хамам и демагогам. Я просто против того, чтобы непременно сравнивать собственную жизнь с жизнью того, у кого всего больше. Ну почему никто из нынешних страдальцев не догадается соотнести жизнь свою не с завидным житьем соседа, а с теми вечными ценностями, которые сами по себе есть благо, и их одних, помимо машин и ковров, вполне достаточно человеку, чтобы стать счастливым? Почему для счастья необходим именно полный «джентльменский набор» престижных для сегодняшнего дня вещей и иных благ? Одного-единственного компонента, недостающего в этом наборе, порой довольно, чтобы сразить человека наповал несправедливостью, совершенной жизнью по отношению к нему. У соседа-то этот компонент есть. И даже в двух экземплярах!

Такая позиция убедительно свидетельствует о том, что справедливость есть вещь относительная. Впрочем, как и несправедливость. Ведь стоит жизни или проклятым бюрократам не поступить несправедливо по отношению к потенциальному страдальцу, не вызвать у него личной обиды, он с ними и сражаться не станет и будет даже всех уверять, что мир справедлив, хотя в нем и много недостатков. Но что недостатки, если лично его они не касаются.

«Почему некоторые юноши и девушки не хотят активно участвовать в общественной жизни?» — задается вопросом Ирина Беркович, проектировщица из Минска, и отвечает: «Молодежь не отстаивает свои права, привыкает к положению, когда ее проблемы решают другие, старшие». Объяснение не новое, но доля истины в нем есть. Несамостоятельность, социальный инфантилизм молодежи — вещи самые реальные. Со школы по-

чему-то рождается в молодом человеке ощущение, что лишь вступит он в жизнь, как все необходимое явится к нему. Столь многое обещаем мы школьникам, так безоглядно расхваливаем возможности, которыми награждает взрослая жизнь, что уверен ребенок: ему обязательно воздастся, причем сторицей и с криком «ура!», — и эта вера есть первый шаг к последующему безверию. И почему бы нам сразу не сообщать нашим детям, что жизнь — не райские кущи, а занятие весьма суровое. И может вовсе не произойти в ней великой радости и всеобщих приветствий, даже если и сделает нечто полезное молодой, начинающий жизнь человек. И во все времена пробивались трудно предлагавшие новое, просто-напросто потому, что любое человеческое сообщество консервативно биологически, а консерватизм — суть вещь необходимая для стабильности этого самого сообщества. Молодым согласиться с этим крайне нелегко. Но это — факт.

А как же коррупция, мошенничество, взяточничество и сопротивляемость нечестно живущих людей? От этого — как не прийти в отчаяние! А очень просто, как: надо думать. Всматриваться в мир и обдумывать увиденное. Этим слишком многие, к сожалению, себя не затрудняют. Надо научиться жить! Когда молодой человек слышит такие слова, он расценивает их в наши дни совершенно однозначно — как призыв лицемерить, ловчить, приспосабливаться, давить ближнего. А жить честно — чему же тут учиться? Мы это с детства умеем. Так вот — все наоборот. Самая простая наука — следовать своим желаниям, лени своей, капризам и прихотям. Самая сложная — научиться жить честно, видеть факты, искать правду и не приходить в отчаяние по любому поводу, так же, как не завидовать ближнему. Это — тяжелое учение.

Почему и с каких пор стали мы думать иначе? И не произошло ли это потому, что все становление молодого человека в наши дни слишком часто происходит

по какой-то инерции, его как бы сплавляют по течению — родители, школа, вуз, и он охотно сплавляется, не пошевеливая при том и пальцем. Вот очень точное письмо без подписи: «Будучи студенткой, я заметила, что около семидесяти процентов ребят способны либо зубрить, либо передирать со шпаргалок. А на работе роль шпаргалки выполняют пресловутые «указания» и не первой свежести инструкции. И это не удивительно — если не хочешь или не можешь думать, остается только благоговеть перед начальством. У меня создается ощущение, что люди глупеют не по дням, а по часам...» Каким же представляется автору письма результат такого мировосприятия? А вполне логичным: «Вот практически каждая проблема и «решается» у нас 10—20 лет (это видно просто из газет). Между тем для решения не требуется часто и денежных средств, а только элементарные расторопность и сообразительность... Ведь и само возникновение проблемы — часто результат чьей-то халатности».

Именно поэтому написавшая письмо женщина и не верит в возможность массового появления людей, взявшихся одолеть несправедливость. Потому и предлагает далее: «А борцов за справедливость (пока они еще не вымерли) нужно стимулировать и морально, и материально. Существует медаль «За отвагу на пожаре»? Учредите орден «За мужество в борьбе с бюрократизмом». Установите единовременное солидное вознаграждение — не нужно скупиться, ведь такие люди — золотой фонд нации. Вывести на чистую воду взяточника, бюрократа — все равно что найти клад».

Как видим, даже автору и этого письма не удалось придумать ничего лучшего, как предложить лично заинтересовывать будущих борцов, заинтересовывать материально. А как еще? Вот пишет в редакцию военнослужащий С. Бычков: «Многие... часто не знают, с чего начать... Может, кто-нибудь подскажет?»

А это вопрос к воспитателям молодежи, которые об-

ладают завидным пафосом, втолковывая своим подопечным: «Боритесь! Хорошо быть борцом!». Далее этого призыва воспитатели обычно не идут, а ведь именно далее-то все самое сложное и начинается. Хорошо, уговорили, начинаем бороться, но с кем конкретно и как? А это вопросы часто решающие.

Вот пишет нам Александр Мосякин из Калининской области: «Нас всех научили говорить красивые слова, но не научили совершать красивые поступки. Только и слышишь: «Боритесь! Не проходите мимо!» А проку мало. Нужно прежде создать такие условия, чтобы и у не совсем храбрых появилось желание не проходить мимо... А остаться единственным воином в какой-нибудь конторе хуже, чем на поле боя. Знаю по личному военному опыту. Оставался. И, хотите — верьте, хотите — нет, чувствовал себя прекрасно. Там я гордился собой, зная, что приношу Родине пользу, пусть и ценой собственной жизни. А в будничной борьбе люди и эту веру теряют. Не поймите меня, что я призываю складывать крылья. Боритесь за справедливость... Но боритесь больше за других, а не за себя лично. Как в старину говорили: «За други своя». По-фронтовому».

Александр Мосякин дает совет, исходя из собственного опыта, и потому абсолютно точно формулирует первый принцип его: не за себя, «за други своя». Именно этой формулой легко поверяется сама справедливость борьбы. Если только за себя стоять, за справедливость лишь по отношению к себе, любимому, нечаянно можно оказаться и среди тех, кто сеет несправедливость.

Нет умения бороться за социальную справедливость, никто не учит технике ее, тактике и стратегии. Учиться приходится на собственном опыте. И отчаяние при первом же столкновении со злом — плохой учитель. Как поступить Андрею Окаемову: отступить или одолеть? Хотелось бы одолеть. Но для этого надо или уехать, или продолжать безостановочно и упорно «бить в одну

точку», пусть годы на это уйдут, пусть пошатнется здоровье? И, кстати, какой из вариантов будет означать именно «одоление», а не «отступление»? Он сам все это должен решать. А не умеет пока. Тут и есть основная его беда. Права библиотекарь Валентина Величко, повернувшая в своем письме рассматриваемый вопрос под иным, чем все смотрели, углом. И вопрос перестал быть неразрешимым. Она написала Окаемову: «Теперь и вы причастны к вечной борьбе добра и зла... Ищите близких по духу людей. Они есть. Они поймут и поддержат вас».

Ну конечно же! Глупо расценивать встречу со злом как встречу роковую и в вашей жизни решающую. Жизнь впереди огромна, много в ней будет и злого, и доброго. Первая встреча — первый урок. Надо приниматься за учебу.

А для начала хочу рассказать о человеке самой обычной профессии и судьбы, в котором интересней всего — необычайная жизненная устойчивость. Ему ничего не пришлось предпринимать, чтобы обрести ее, жизнь сама наделила его такой судьбой. Но нам важно сейчас определить, каковы те устои и опоры, которые, собственно, и позволяют этому человеку уверенно чувствовать себя среди людей. Нам важно это определить как некую отправную точку для дальнейшего поиска и размышлений.

ЧЕМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК

Во внешности Калугина ничего, что бросалось бы в глаза, нет. И мимика у него небогатая, во всех случаях жизни пребывает на лице одно и то же выражение, несколько флегматичное, с легкой усмешкой под усами. Это от лада в душе и устойчивости характера. Человек он не нервный — чего ему гримасничать? В гневе я его, правда, не видел, но мне сказали, что и тут остается

прежним лицо его, только как бы твердеет, наливается чугуном.

Роста он небольшого, от природы очень сильный, летом на турслете всех победил, подняв двухпудовую гирю 36 раз правой рукой. Специально не тренировался, а силу человека выводит из его веса. На мой завистливый комплимент сказал поощрительно: «Ну, ты тоже не тощий». Я сидел перед ним в четырех свитерах, ватном пальто, а щека моя раздулась от флюса — все результаты сорокаградусного мороза, который стоял в дни нашего знакомства.

Вообще-то первым поразившим меня впечатлением еще в Иркутске был не мороз, а шагавшие навстречу ребята в унтах и столь же лохматых шапках, но уши у шапок были завернуты наверх, а ребята при этом ели мороженое.

От Иркутска до Черемхова, места жительства Калугина, три с половиной часа электричкой, земля та же, тот же морозный пар, но тут уже крепостными стенами стояли на косогоре приземистые дома с увесистыми ставнями и мощными заборами, мимо которых шествовали ненатурально румяные черемховские жители, под мышками у них были веники, в авоськах шайки, впереди розовыми поросятами неслись дети, был банный день. Из-под ног жителей сыпали воробьи угольно-черного цвета. Местная порода? Воробей вульгарис черемховский. Нет, к сожалению, в открыватели нового вида птиц попасть мне было не суждено, они сделались черны благодаря привычке отсиживаться от зимы в печных трубах. В Черемхове, кстати, углем не только топят печи, здесь его добывают, близкое знакомство с угольной пылью во всех ее видах и сделало воробьев жгучими брюнетами.

Я отмечал приметы экзотики, поскольку занимало меня, чем же отличается сибирский житель от нас с вами. Привычкой к морозам?..

С чего я взял, что он должен от нас отличаться?

Ну, хотя бы с того, что, помимо суровости, самый масштаб природы вынуждает здешних людей куда тщательней и пристрастней относиться к делу и друг другу. В тайге, на реке, вдали от жилья нельзя схалтурить, расплата может наступить тотчас. Правда, сейчас, когда и техники стало больше, и отдаленность снимается налаженным транспортным сообщением, жестокое отношение Сибири к людям правилом никак не назовешь. Но зато если уж не сработало какое-то звено созданной человеком самозащиты, тайга, река, дорога поступят с ним круто. Так что сибиряк нынешний продолжает выкладываться в деле, поскольку и сегодня надеяться надо на себя и на товарища, а не ждать от природы помилования. Надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему — видимо, это и значит вести себя «по-сибирски».

Но вокруг Калугина ни реки, ни тайги, и вообще он человек городской и рабочий, у него что за характер? Калугин подумал и сказал: «Насчет сибирского не знаю, характером я в мать. Она хваткая, легкая и на людей, и на подъем. Отец у меня был молчальник. Сам в себе. У меня не калугинская ухватка, а антоновская: материна фамилия — Антонова. Вот какой у меня характер». Впрочем и городским человеком можно его назвать лишь наполовину.

Деревня, откуда Калугин произошел, называлась Артуха. Там осталось его детство. А самой Артухи на свете больше нет. Красивая она была, вся в черемухе, кряжистые дома в один ряд, речка светленькая, вокруг тайга. Артуха посередине. Зимой — санки, летом — ягоды, семья в полном наборе и полном порядке. Детства — полной горстью.

В Иркутске я купил книжку очерков, написанных двадцать лет назад совсем молодым тогда еще Александром Вампиловым, открыл почти наугад и вдруг прочел: «Артуцкие деды крепки, — я обомлел, потому

что забравшийся сюда, в глушь, начинающий газетчик Вампилов встречал, должно быть, и деда Калугина тоже, — как крепки еще старые, ими же построенные дома. Они сеяли здесь хлеб, родили детей, прогнали кулаков, снова сеяли хлеб, создали коммуну, создали колхоз и снова сеяли хлеб».

Мать Калугина и была из артухинских Антоновых. А отец родился в Комсомольске-на-Амуре. Его родители Комсомольск построили, в нем жили и работали. Сам он начал валить лес, за лесоповалом и шел по земле. Инерция освоения пространства его вела. Но чем дальше шел, тем больше лес он жалел, а все сводил и сводил его с земли. И, может быть, оттого, чем дольше жил, тем все больше отмалчивался.

В Артуху привел его леспромхоз. Но здесь он решил наконец остановить свое бесконечное движение. Женился. А леспромхоз дело свое продолжал, сманил артухинскую молодежь заработками, вырубил вскоре ближние деляны. Опустошив окрестность, назначение свое осуществил и закрылся, чтобы возродиться в другом месте. Тут Артухе и конец пришел. Брошенная леспромхозом молодежь, получив привычку к иной жизни, к землепашеству возвращаться не захотела, потянулась кто куда, бросая дома. Старики, погоревав, кто отправился вслед, кто помер. Остались от Артухи одни пенечки.

Как все заплелось здесь однако. Артуха и смерть распутинской Матеры. Это все сибирские истории. Начинающий Вампилов, впрочем, другое видел вокруг: «Здесь были колумбы, бандиты, богомольцы, авантюристы, мыслители и революционеры. И вот сюда пришли строители». Он о возрождении. Слышите звенящее торжество в молодом его голосе?

Валентин Распутин повесть о Матере писал позднее. Да и с Артухой случилось не совсем то же самое. На Матеру наступило огромное новое. Здесь же оно лишь прошло стороной. Строители пришли не сюда, но

и одного их присутствия рядом, обозначившегося лишь слухами да нашествием леспромхоза, не выдержала здешняя жизнь, не выстояла, разбежалась ручейками. Прощай, Артуха!

Вскоре разбился на машине во время длинного перегона дед Калугина. А отец погиб все на том же лесоповале, его придавило, допустил неосторожность. Оба не своей смертью. Впрочем, можно ли умереть смертью чужой? В чем-то оплошали, оступились, изменило чутье. Не сработало то самое ожидание опасности, что в крови сибирского человека. Не потому ли не сработало, что сработалось? Значит, и у него есть предел?

Вот что у Калугина позади. Из чего он произрос. Потери. Как бы спокойно к ушедшему он ни относился, жизнь его ушедшим окрашена. Он тот самый деревенский выходец, простившийся с исчезающим прошлым, хотя что-то из него в себе унесший. Что?

Вынес ли он то самое ожидание опасности, какое и порождает природный и больший, нежели где-нибудь еще, коллективизм сибиряка, коллективизм инстинктивный, выношенное в передрягах и закрепившееся в генах чувство товарищества? Еще бы не вынес, тем более что сохранилось оно в нем не как отзвук, он остался с матерью, которая несла в себе это ожидание неисправимо.

«Мне мать, — сказал он, — заповедала: живи так, чтобы у тебя как можно больше было товарищей. Тогда не пропадешь. И с детства всегда у меня много товарищей». Среди его сегодняшних друзей — ребята, с которыми дружил еще в школе. Да, они, как и Калугин, перебрались в город, живут неподалеку, но давайте честно сознаемся, мы-то со своими однокашниками, даже если они вблизи, охотно ли встречаемся?

Еще мать говорила: «Всю жизнь трудись». Это была вторая заповедь. Их трое росло детей. И вот — безотцовщина. «Мамка мало получала», она работала почтальоном, вся округа ее знала, кое-как помогали. Но

стало ей уже не до дома. Где могла, подрабатывала. Старший брат Женя школу окончил, уехал в Черемхово, поступил в горный техникум. За мужчину в доме остался младший брат, Гена Калугин, о котором и рассказываю. «Все купаться бегут, а мне мать тяпку в руки дает, иди помахай». И он «махал» как взрослый и по-взрослому учился в пятом классе, так, чтобы мать не вызывали: «Я средних способностей парень, вот Женя у нас — это отличник, а я только старательностью брал. Но никак иначе было нельзя». И надо было помогать жившему в городе старшему брату, картошечки подбросить, значит, на огороде должен быть порядок, и обихаживать меньшую сестричку Нелю.

Все вместе это и была та самая взаимовыручка. Ее на себе испробовал младший сын Гена Калугин, и общее для жизни правило (куда ни кинь, из чего его ни выводи, из прошлого или настоящего) выходило у него одно: надо держаться друг за дружку, а самому работать безоглядно, свое сделать, хоть из носа кровь, потому что если и каждый так — тогда, все вместе, с жизнью и сладим.

Вечером Калугин мне сказал: «Ко мне пойдем ночевать, а то завтра на работу вставать в шесть, ты сам от гостиницы до разреза не доберешься. Зато увидишь мою Танюшу. Только не удивляйся, что она такая молоденькая. Я к ней в магазин раз зашел, девчонки говорят: ой, какой у тебя муж старый. А я не старый. Ей, между прочим, как и мне — двадцать пять, а она еще на три месяца меня старше. Выглядит, правда, как девочка. Не поверишь, что у нас двое парнишек, да?» Худенькая Таня нас кормила, а Калугин, когда вышла она, быстро поинтересовался: «Ну как? А-а! Что я говорил!»

Спать меня уложили за печкой, на огромной лежанке. Возле, на диванчике, взметывал руки и ноги в бес-

покойном сне пятилетний Мишка, все переживал дневные свои детсадовские похождения. Годовалый Максим, которого как раз отучали от груди, проживал у бабушки в Малиновке, неподалеку от Черемхова. В Малиновке поселились Калугины после Артухи.

В доме не спал один я. Думал о том, что у сибирского человека дом и внешне всегда был похож на крепость, хотя сейчас живет такой, как Калугин, «выходец» в домах иных. И тот дом, куда привел меня Гена, не был его собственностью. Они с Таней его снимали. «Свой» дом остался в Малиновке, там жила мать, и дом ее был — на крайний случай, как запасная позиция, для отхода. Но отходить никуда Калугин не собирался. Здесь, в городе, дожидался квартиры.

Сказать, что от деревни он полностью оторвался, тоже нельзя. И в снимаемом доме держит Калугин поросенка, возделывает палисадник под овощи, а не под цветы, летом едет косить сено для материной коровы, весной едет в Малиновку сажать картошку, осенью — копать. Теперь уж разве что дети Калугина станут окончательными горожанами.

Но крепость сибирского дома, я думаю, и всегда определялась не одной толщиною кряжей, его составлявших. Надежность в отношениях трудовых должна была быть подкреплена надежностью отношений семейных, как иначе? История калугинской семьи меня в том не разубеждала.

Калугин уже заканчивал школу, когда мать решилась и вышла замуж за хорошего человека. У него своих детей было семеро, но уже не по лавкам, почти все уже выросли и в жизни определились. В Малиновку из Черемхова он переехал с меньшим парнишкой, а в городе оставил младшую же дочку Таню, она доучивалась, бросать школу ради переезда не хотела, а в Малиновке появилась лишь на побывку, тут ее Гена Калугин в первый раз и увидел.

И случилось то, что называется: любовь с первого

взгляда. Ничего не могу поделать, но кажется мне, что вся эта история что-то важное раскрывает в особенностях здешней жизни. Мне очевидна естественность ее здесь, и вовсе не случайной видится уже просто подозрительная схожесть ее с одной из линий вампиловской пьесы «Старший сын». Там, если помните, герой лишь изображает сына, родство ненастоящее, хоть чувство к «сестренке» самое подлинное, так же, как и ее к нему. Но она-то мучается, поскольку об обмане не знает, думает, что они — родня. В нашей же истории Гена с Таней были хоть и сводными, но все же — братом и сестрой. Официально. Есть закавыка в ситуации. Они это чувствовали и переживали. Я забыл сказать, но вы уже поняли, что с Таней при виде Калугина произошло то же, что и с ним. Как говорится: «пришла пора, она влюбилась». Но вели они себя смирно и строго, будто и нет ничего. А как же нет, если обоим ясно, что жить друг без друга не могут.

Так же не случайно сходство этих сюжетов, как и историй Артухи и Матеры. И, конечно, не о странной ситуации, в которую попало чувство, писал умница Вампилов, а о том, как нашедшие друг друга люди осознают вдруг невозможность друг друга потерять. Не то ли самое чувство самосохранения, живущее издревле в сибирском человеке, которое диктует ему поведение: если встретил кого по себе — держи крепче, терять его нельзя никак.

А потом Таня окончила школу, начала в Черемхове работать. Но Гена приехал сюда же, поступил в горный техникум. Стал он, по-родственному, звать Таню в кино или на танцы. Она соглашалась. Так они друг с другом и «ходили», отношения не выясняя и даже не заикнувшись о том ни разу. Такая у них сложная шла жизнь.

Но как-то после кино к Тане привязались трое закосевших ребят. Калугину они скомандовали шагать подальше и не оглядываться, а к Тане, до которой Калугин и дотронуться-то боялся, приставать начали от-

кровенно и бесцеремонно, отчего она вся оцепенела. А сила, как я уже упоминал, у Калугина была. Поэтому о том, как начали сыпаться на землю пристававшие ребята, рассказывала мне уже Таня, Калугин отозвался о том эпизоде: «Помахались маленько».

Но суть-то в том, что тут стало двум нашим героям ослепительно ясно, что между ними уже произошло и что далее отмалчиваться некуда. Тут они объяснились, а родителям покаялись. А те обрадовались. Где-то здесь впервые Калугин выпил. До того спиртного в рот не брал: «Мамка моя в этом очень строгая. А мы против нее никогда не шли».

Весь Гена Калугин в этой истории. Он не меняет найденных еще в детстве друзей. Никакие обстоятельства не способны преодлеть его постоянство в привязанностях. Если он что-то выбрал, то раз и навсегда. В постоянстве он однозначен и последователен. Он надежный человек. В этом крепость и его дома.

К утру печка выхолодала. Мы собирались, ели, никого не разбудив, тихо вышли на невидимую улицу, мороз потискивал за руки и ноги. Дымки поднимались над трубами. Рабочее Черемхово просыпалось, из тьмы возник рейсовый автобус, он был темен, и внутри, в глубине, шевелились, позевывали, досыпали едущие в утреннюю смену люди. Входили новые, здоровались на шорох и в сторону, где должны были сидеть знакомые, там они и сидели, каждый, как всегда. Окна заморожены, за окнами длилась ночь. Автобус, укачивая, вез нас на угольный разрез.

Мы влезли впотьмах в промерзшую железную бытовку, она наполнялась людьми, а люди наполняли ее паром дыхания, кто-то кочегарил у входа железную печку. Им не везло: вместо работы у них был ремонт. Везло мне — ремонт собрал их вместе. До света я не стал откладывать, принялся знакомиться, тем более,

что кое-что о них уже узнал от Калугина и его глазами на них смотрел. Впрочем сейчас-то увидеть что-либо было сложно. «Телегин», — донеслось из темноты напротив. Так значит, передо мной сидит Витя Телегин. У него должна быть борода, две дочки, и нет ему слаще разговора, чем о детях. Саша Скляров. В углу. Он должен быть высоким, гитарист и главный среди них песенник, большой специалист по электрической части машины, у него тоже две дочки. У самого-то Калугина растут два жениха. «Вот подрастут наши дети, — шепнул мне вдруг Калугин, — мы их между собой переженим. Во будет коллектив!» Андреев Сергей. Это неженатый. Совсем молодой. «Мы с ним, — сказал мне вчера об Андрееве Калугин, — между прочим, как братья. У нас все привычки одинаковые, на ремонте мы как встали на ходовую часть, так и будем делать ее до конца, механику мы любим». А это Володя Кобелев. Знаю Кобелева. У него болезнь под названием «замашка», бывает такая у экскаваторщиков, причем неизлечимая, видимо, от характера. Но это не смертельно. Просто при работе он так разгоняет ковш, что страшно становится со стороны смотрящему: сейчас грохнет по БелАЗу — и в лепешку. Нервные впадают в панику, водители зверски ругаются. Но ни разу он по машине за три года не попал, а над кузовом ни разу не промахнулся, как это у него получается, никто объяснить не берется.

Василий Котович. Бригадир. И еще голубятник. Самый здесь солидный по возрасту, ему за сорок, но самый несолидный по поведению. «Вроде как пацан», — определил Калугин. С детства Котович гоняет голубей, и голуби у него классные. Его только по этому делу зацепи. Я зацепил: «Очень любите голубей?» — «Люблю, — ответил Котович важно. — Голубь — это символ мира». — «Он любит, — сказал кто-то справа, — потому что Котович». — «Кот Котович, — пояснил кто-то слева, — Кот Василий». — «Котище!» —

сказали басом в углу. Экипаж экскаватора, собравшийся на ремонт любимой машины, веселился.

В окошко проник первый свет. Скляров оказался высоким и красивым, у Телегина стала видна борода. Кочегаривший печку Сережа Андреев, маленький, шустрый, успел, оказывается, сварганить на ней яичницу в огромной посудине. Все сидели уже за столом, развязывали «тормозки», сваливали в общую кучу принесенное, резали хлеб. Ели молча и неспешно. Меня посадили возле печурки, чтоб и ел, и грелся. В дверь сунулся кто-то из соседей, за куревом! «А! У вас гости, то-то на работе никого не видно. Что ж вы москвича в тепле держите, отдайте нам, мы ему Сибирь покажем!» — «Он у нас комнатный сибиряк», — с достоинством отвечал Котович. И по тону его стало ясно, что я уже являюсь как бы собственностью бригады и никому меня теперь не отдадут. Это мне понравилось.

Я наконец рассмотрел круглое веселое и умное лицо бригадира и понял, кто определил раз и навсегда эту забавную, с подначками, манеру общего разговора и кто превратил этих разных ребят в одну компанию. Котович из редких людей, уверенных в себе настолько, что с удовольствием смеются над собой. Калугин мне уже говорил, что он — самый изо всех легкоподъемный, самый заводной, устраивает всеобщие вылазки, выезды и семейные праздники, куда является со своей супругой, внушительностью вдвое его превосходящей, что также является предметом острот и подначек. Но я видел и другое, как начинают слушать его ребята, едва он, не оставляя шуточного тона, переходит к разговору о деле. Вмиг все становятся внимательны и серьезны, и слышен уже лишь его голос. И тут же, без перехода, снова общий галдеж. Это значит, что серьезный разговор закончен, а те, кому нужно идти и что-то готовить к общей работе, уже встали и собирают амуницию.

Котович на разрезе семнадцать лет, он единственный в экипаже, кто остался от первого его состава, и он со-

бирал эту самую машину, на которой все они работают сегодня, то есть он единственный, кто до сегодняшнего дня не теоретически только знал ее устройство, но за всякую внутреннюю деталь уже подержался руками. И слабости ее и капризы знает лучше всех. Для экипажа, однако, главная его ценность иная. Это именно он в свое время каждого из ребят «раскрыл», у кого к чему наклонность — увидел и научил это ценить, он сбивал ребят в один кулак, в то рабочее товарищество, которое потом уже и само по себе формирует каждого, в него попавшего. И Калугин тоже черпает из этого котла. Здесь получает шлифовку его характер.

Принцип отношений здесь, в экипаже, — та же, уже нам знакомая, взаимоподдержка. Сколько раз бывало, налетит начальство за чью-то ошибку (а с кем не бывает ошибок?): «Ты зачем держишь эту салагу! — кричат Котовичу. — Он же работать не умеет!» Вот когда становится серьезен Василий Котович: «Что молодой парень, — отвечает, — так этот недостаток быстро пройдет. К сожалению. А что работать не умеет, так научится. Куда он денется, мы же рядом. А уж какой он человек — это, извините, нам видней. Мы — его товарищи. И если его в товарищи приняли — все исправимо. А с ошибок все начинали. Человек должен иметь право на ошибки!» И на этом стоит Котович насмерть. Никакой начальник его не своротит. И с таким бригадиром не жить?

Однако весьма примитивной была бы ситуация, если бы исчерпывалась этим удалым восклицанием. Все тоньше и сложнее. Именно это выговорил Калугин, заметив как-то: «Уйди сейчас от нас Котович, и настанет безотцовщина».

А кто же сам Калугин среди ребят? Сам себя считает он человеком удачливым. Хоть и признает, что удача его — небольшая по мировым масштабам. Он с детства был первым. Самым сильным среди приятелей: «В деревне никто не мог меня забороть». Игры любил

коллективные, типа футбола, но уж: «Никто меня в футбол не обгонял, я очень быстро бегал, если попался мне мяч — все!»

Какое же у него место среди товарищей сегодня? Вот где мы выходим на очень важную особенность их взаимоотношений. Поэтому не торопитесь, подумайте. Итак, какое место? Ладно, скажу — первое. Так он сам считает. А что же остальные? Вторые, третьи — тихо пропадают за его спиной? Зачем же, они тоже первые. Как так? А очень просто. Никто лучше Калугина не знает в машине ходовой части, здесь он — первый. Но зато никто лучше Саши Склярова не знает части электромеханической. Здесь первый — он. И так далее. У каждого есть свой конек. Даже и бригадир, хоть сам он в экипаже, несомненно, — человек номер один, когда отлучается, кого-то из ребят вместо себя оставляет, того же Калугина например. И в это время вся ответственность за действия экипажа и весь бригадирский авторитет ложатся на его плечи. Вот в чем хитрость. Каждый может быть первым среди равных, если на своем месте и в своем деле он — мастер.

А это уже критерий, позволяющий Калугину довольно легко определять место человека в жизни и в ее иерархии ценностей. Калугин рассказывал мне о людях, которые на него сильно повлияли, которые покоряли его еще в детстве, о преподававшем в их школе географию Евгении Архиповиче Хабарове, которого заслушивались даже те, кто никакой охоты к учению не имел, и об учителе физкультуры Валентине Павловиче Беликове, который приехал к ним из Ленинграда, после инфизкульта, и всех поразил молодостью и необычным знанием тонкостей своего дела, прежде всего тем, как неожиданно представил мальчишкам всю физкультуру. Он рассказывал о людях, которые у него «в памяти остались», и среди них вдруг оказался человек, с которым Калугин и знаком быть не мог — Петр Иванович Старостин.

Однажды экипаж победил в общегородском соревновании комсомольско-молодежных коллективов, и ему, по условиям соревнования, можно было присвоить имя какого-нибудь известного человека. Ребята посовещались и сошлись на том, что имя Старостина им подходит. Он им «очень пришелся». Его имя они на машине и написали. А Старостин — это кто? Он был в здешних местах в ссылке перед революцией, сам из Одессы, работал там токарем в портовых мастерских, а здесь его принимать на шахты запретили, «чтоб не агитировал». Но Старостин пришел к хозяину шахты Забитуй, так следует из легенды, и предложил ему посмотреть класс токарной работы. Хозяин собрал своих лучших токарей, и Старостин начал показывать. Такой работы здешние мастера не видели, они будто бы сказали хозяину: «Это нам недоступно!» И тогда хозяин взял Старостина в свои мастерские, поставив условие — агитации не вести. Старостин, естественно, уговора не выполнил. Еще и создал в мастерских подпольную организацию. Его, чуть позже, тишком и убили. Есть в Черемхове и улица Петра Старостина, и экипаж за этой улицей присматривает, за порядком на ней наблюдает, а надо — метет ее и убирает. Но я бы хотел отметить чисто личную приязнь Калугина к Старостину, так же, как и к учителям географии и физкультуры.

У них общая была черта, которая Калугина более всего и прельстила. Они были **мастера,** до тонкостей знали свое дело. К мастерам, кстати, относит Калугин и человека, который не в прошлом остался, а с ним рядом работает, Котовича Василия Николаевича. Котович — своего дела ас.

И всю жизнь стремился Калугин стать мастером. И стал. Он, как и всякий уважающий себя машинист, пятой ковша может спичечный коробок закрыть, не раздавив. И закрывал. Раз вагоны грузили, поставили на кромку коробок, выдвинули серединку. Калугин ее аккуратно внутрь задвинул. Ковш, кстати, весит четыре

тонны, да стрела пять. Девять тонн по воздуху ведешь, девять тонн летит, это пустых, а с грузом?

Быстрота его работы именно от точности зависит, от ощущения этих летающих тонн, отделенных от тебя кабиной, тросами, двенадцатью метрами расстояния. До того как ковшу коснуться грунта, сантиметров за десять или за пятнадцать (это от скорости зависит, от веса, а сантиметров этих вовсе не видно из кабины, их можно только угадать) Калугин ставит рычаг в нейтральное положение и ковш за счет инерции плавно доходит до земли. Работает он, не только ковшом о землю не брякая, но используя полностью его весовой накат. Отсюда и скорость, и красота. Его мастерство — очевидно.

Но мастер — это не только управлением овладеть, это суметь и саму машину отладить, «как часы». Каждый в бригаде что-то в нее вложил. Что вложил Калугин? Тут мы с ним сели, стали вспоминать. Все выходили мелкие какие-то улучшения, ну, догадался, например, поставить на опору, по которой ходит шток от пневматического цилиндра, резиновую трубку. Вроде бы: ну и что? А то, что раньше шток об опору задирался, рвал в цилиндре сальник, то-то и растачивали время от времени цилиндр. И ведь положено. Цилиндр через семь-восемь месяцев все меняют. И они меняли, пока не заглянул в этот цилиндр Калугин, пока не задумался и не придумал. С трубкой на их машине цилиндр работает уже три года, и ничего с ним пока не случилось. Чепуха ли?

Наконец выглянул я из бытовки на белый свет. Увидел разрез. Что сказать? Разрезали землю, как арбуз, вырезали породу до угля. Вскрышной пласт толщиной примерно в тридцать метров выбрал шагающий экскаватор, такое несоразмерно огромное сооружение, такой доисторический кузнечик, одна стрела — девяносто мет-

ров, и начинает с открывшимся углем возиться козявочка — добычной экскаватор ЭКГ, экскаватор карьерный гусеничный, объем ковша — 4,6 кубометра. Это и есть их машина.

Как крестьян объединяет пашня, лесорубов и охотников — тайга, рабочих людей объединяет машина. Она и кормилица, и источник того удовольствия от работы, какое каждому человеку в жизни необходимо. «Когда работаешь, через некоторое время в тебе возникает какой-то ритм, какое-то равновесие, — передавал мне свое ощущение Калугин. — Перестаешь себя чувствовать. И если все отлажено, БелАЗов вволю, и ничего тебя внутри не задевает — вот тут копай и копай. День промелькнет, как не был, только вроде в охотку вошел».

А Котович мне сказал: «Если я кого-то из ребят ругну, что не смазал толком, допустим, какой-нибудь узел, то есть небрежен к экскаватору, он весь день тусклый ходит. Нет ему больше обиды, потому что мы к машине относимся, как к личной нашей собственности, ну, будто она — «Жигули».

Экскаватор стоит на заснеженном пригорке, далеко его видно, подпирают его деревянные поленницы, он сейчас на ремонте. За одиннадцать лет, с тех пор как собрали его, это первый капитальный ремонт, хотя положен ему он — через пять лет. Так они его берегли и так с ним возились. «Представляешь, сколько средств мы сэкономили, пропустив ремонт!» И в этот раз хотели дотянуть до тепла, все в нем и сейчас работает «как часы», но начальство уже взбунтовалось: летом работы много, вдруг что, потеряем больше, чем зимой. Вот они и встали. Наконец-то впервые забрались к машине в нутро, за все, как до этого один лишь Котович делал, руками «подержались»: «Все «наяву» — вот он, роликовый круг, вот тебе опорные катки, натяжные, вся гидравлическая система, высоковольтные изоляторы — всю машину перед тобой наизнанку вывернули, наглядно

изучай». И наконец, все они надолго собрались вместе.

Работают на экскаваторе парами — машинист и помощник, четыре смены — восемь человек, один подменный, всего — девять. Эти девять и называются — экипаж. Хоть друг друга видят они, только когда сдают друг другу смену, да во время ремонтов.

Почему и сказал Калугин: «Я всех люблю в бригаде, но роднее всех — мой помощник. Он без слова понимает меня, я только выглянул в окошко, он уже знает, что я буду отъезжать или подъезжать, и кидается, например, кабель оттащить. Вообще у него обязанности механика, когда я гружу, он смотрит за механизмами, его дело уборка. В некоторых экипажах так и бывает, машинист отработал и — домой, а помощник машину чистит. Мы же все и всегда делаем вместе, вместе чиним, вместе убираем, вместе смазываем. Иногда он меня подменяет, садится за рычаги, а я слежу за механизмами, по сути, мы с ним напарники. Вместе поработали, все за собой убрали, машину другой смене передали, и свободны, можем попить чаю, у нас в бытовке электрическая плитка. Сразу ведь с работы уходить не хочется, надо настрой на дом получить».

Малый пласт они выбирают быстро, потом машина ползет вдоль траншеи и заворачивает на сторону междупластие, как одеяло заворачивает его с основного пласта, и начинается добыча. Машина идет теперь назад, уголь грузит на БелАЗы, а завернутое на бок междупластие сворачивает обратно в траншею, закрывает земляной разрез, убирает за собой. Уезжают с места — на нем одна пустая порода. Манера убирать за собой, присущая добычникам, дает им основание свысока смотреть на своих «высоких» (из-за размера машины) соседей с шагающего экскаватора. Те наворотят гор, и хоть им трава не расти. Есть в этой конкуренции и пристрастие и гонор, но тем она и любопытна.

Когда наступает День шахтера, экипаж, вопреки привычке все праздники проводить, собравшись семьями у кого-нибудь дома, отправляется в Дом культуры, причем только мужским составом, заказывают столики и гуляют. Но какие же они шахтеры, какие горняки, нет у них ни гор, ни шахт? Они — угледобытчики. Но и этого с них довольно, чтобы относить себя к шахтерскому роду. Вот экипаж с шагающего действительно землекопы, не более. Подумаешь — машина у них с коломенскую версту! «У меня есть права на управление шагающим, — сказал мне Калугин, — ну и что? Я на него не сяду. Моя машина самая маленькая из добычных, зато сильно крепкая. Мы хоть какое междупластие можем разобрать, хоть скалу, другой экскаватор ее не возьмет, они ее взрывают. А мне не надо, я своим родным ковшом одолею. И еще, ты заметил, у шагающего даже ковш гребет **под себя**, он на себя только и работает. Если сломался, встал, ему об нас и горя нет, а мы ведь от него полностью зависим. И сидим, его дожидаемся, у нас все в порядке, а работать не можем. А наша машина черпает **от себя**, мы — добытчики, даем план участку, наша продукция выходная, конечная, и вся слава разрезу от нас. Конечно, и у нас есть недостаток, мы любим сухой пласт, у нас вес большой, а гусеницы хилые, на мокром месте сразу садимся — и ни с места. Но тут уж завод подкачал. А я свою машину потому люблю и на другую не променяю, что у нее характер простого человека. Мне именно такой человек нравится. Открытый душой. Я сам такой. Я ни от кого не таюсь. Зачем? А боюсь я только тех, кто себе на уме».

За жизнь несколько раз такие люди Калугина и подводили. И как ни зарекается он водить с ними дружбу, распознавать их так и не научился. Пришел однажды в экипаж один из его знакомых. А Калугин и в знакомстве похож на свою машину, ради дружеских отношений «любой пласт разгрызет». Он и уговорил Котови-

ла взять к себе парня: «Я за него отвечаю». Взяли. А он, оказывается, как шагающий экскаватор, любил лишь под себя грести.

Человек с таким устройством, попав к новым людям, сразу меж них начинает «устраиваться». Он так шустро всех расталкивает, оттаптывая себе хорошее место, такое, чтобы теребили его поменьше, а в руки текло побольше. С одним работает — на другого наговаривает, с этим работает — наговаривает на первого. Он уже знает, кого надо из бригады гнать, а кого на его место взять, есть у него на примете человек, приведет. Ему уж пеняли: «Брось, Серега, ты лучше к нам привыкай, тебе сразу легче и станет». Но у него свое было представление, как надо жить и жизнь вокруг себя устраивать. С такими возможностями, как у экипажа: и слава, и звания, и награды, — да не получать втрое! Тут такое можно выбить, так потянуть на себя одеяло! А кто не согласен — гнать!

Но экипаж меняться не хотел, ссориться и злобиться друг против друга просто не получалось. И тогда Калугин, тяжко переживавший все происходящее, собрал всех на собрание. И сказал, что перед товарищами виноват, поскольку это он причина смуты, именно он Серегу сюда привел. Но покаяться толком ему не удалось. Разговор быстро и однозначно повернулся в другую сторону. «Уходи от нас, Серега, — сказали нарушителю спокойствия, — уходи от греха, с нами ты не уживешься». И тот ушел.

— Он главного не понял, — сказал мне Калугин. — Да если бы мы тянули на себя, разве была бы у нас слава? И если бы сейчас начали тянуть — быстро бы она развеялась.

А в год, когда они всех победили, сгорел у них якорь в моторе. А пурга была, мороз градусов 30, на ветру все 40. Траншея же, где стоял экскаватор, оказалась развернута по ветру, сидели в ней как в аэродинамической трубе, «кости ломило». А якорь надо вытаскивать

и новый затаскивать вручную, ломиками, шпалы стелить. Сгорел якорь утром. Начальник участка к ним прибежал: ах, беда! Но экипаж винить в таком случае не за что. Спросил начальник у Котовича: «Вася, с добычей у нас плохо, к завтрашнему дню сделаете? Выручайте!» Котович сказал: «Сделаем». И все собрались, и весь день и всю ночь работали, а к шести утра снова начал копать экскаватор. «Счастье, — сказал мне Калугин, — это быть самим собой, среди друзей и на своем месте».

* * *

Калугин прост, и жизнь его проста. Работа ему по душе, в бригаде уважают, в семье — лад и любовь. Но этого ему и достаточно. Вот в чем «секрет» самоутвержденности: Калугин осознает **реальные** свои возможности. А умение трезво оценивать себя играет при утверждении человека среди людей роль часто решающую. Это — основа, на которой порою воздвигается и характер, а там и судьба.

Никаких подвигов Калугин не совершает, он совершает — поступки. Но как раз такие, какие одобряются окружением. Более того, окружающие к ним охотно присоединяются. Он потому и может многое, что не одинок. А даже и беду возможно одолеть, если навалиться всем миром. И в то же время коллективное одоление само формирует людей, в нем участвующих.

Мальчишки, сбивающиеся сейчас в группы под самыми разными названиями, вам кажется, что это вы придумали «команды». А это старинный способ одолевать дело, неодолимое в одиночку и требующее предельного напряжения. Потому и у взрослых не так уж много «команд». Но они есть. И всякий раз это сгустки, в которых судьбы, характеры людей соединились и сплелись ради какой-то цели. С одной из таких «команд» я вас сейчас хочу познакомить.

КАПИТАН ЕФИМОВ И ЕГО КОМАНДА

Сон мне приснился дикий, что-то из «Мойдодыра»: одеяло — убежало, а подушка — как лягушка. Я заорал беззвучно, проснулся. И окатился холодным потом: полутьма вокруг шевелилась, крякала, взвизгивала, подвывала. Висевший напротив ватник вдруг скособочился, простер рукава к двери, в указанном им направлении быстро ползли ботинки, их настигал кофр с фотокамерами, сорвалась с места и, наращивая скорость, кинулась за ними сумка с одеждой, кофр влепил ботинки в надпись по низу двери: «При необходимости выбить» (необходимость, видимо, настала), сумка со всего маху припечатала их сзади, но дверь устояла, ватник только рукавами развел, потом заломил их, бедный, воздел в тоске, развернулся к окну, и сейчас же вся стая понеслась туда.

Я вскочил, но к полной неожиданности тело мое тоже неудержимо побежало к окну под управлением ватника, вслед за мечущимся имуществом, нос вплющился в стекло, но с той стороны кто-то злобный плеснул мне прямо в физиономию с ведро воды, я ахнул, но уже мчался в другую сторону, вылетел за дверь, вцепился в поручень, имущество сунулось следом, я лягнул его ногою и полез, как обезьяна, по узенькой и крутой лесенке наверх, повернул здоровенный рычаг, распахнул тяжелую железную дверцу, ввалился через высокий порог, и, наконец, стало мне стыдно.

Ночной мостик, подсвеченный тихим мерцанием счетчиков, циферблатов, контрольных лампочек, зеленоватый аквариум, где важно и неслышно, как крупные таинственные рыбы, перемещаются вахтенные, бормочущие неустанно радиоголоса, перекрывающий их, дремотный, невесть где находящийся, бубнящий на одной ноте: «Внимание: всем судам. Циклон перемещается на восток со средней скоростью 25 километров в час, скорость ветра 25 метров в секунду, высота волны до че-

тырех-пяти метров. Внимание, всем судам...» Ночной мостик, где бессонно идет неспешная работа, где капитан в тапочках на босу ногу колдует над картой за штурманским столом.

— Александрыч! — зову капитана. — Во сколько оцениваешь погоду?

— Баллов восемь, — отвечает, зевая, — больше не дам. Чего не спишь, Борисыч? Я вот спать иду.

— А где мы сейчас?

— Выбрались из Лаперуза.

— А в проливе Лаперуза, — сообщаю я капитану, — есть ужасная медуза. Капитаны знают, сколько было с ней возни!

— Это, наверное, возле Камня Опасности, — вытягивая длинную худую шею, подсказывает тонким ломающимся голосом третий помощник Игорь Шлапаков, двадцатилетний Семеныч.

— Вот-вот, — подтверждает капитан. — Но от Камня мы прошли в двенадцати милях. Проскочили. Так что спи, Борисыч, спокойно.

Уснешь тут! Ползу за капитаном в его апартаменты. Сюда, кроме койки, втиснут еще и низенький столик — светская обстановка. Капитан заваривает кофе.

— Ты вроде спать собрался, Александрыч?

Внимательно смотрит на меня. Я на него.

Ефимов Владимир Александрович. Коренастый, медленный в жестах, лицо властное и непреклонное, слушает набычившись, широко расставленными глазами упираясь в собеседника, как в препятствие.

— Дошло до нас, — говорит он, и усмешка оседает где-то в уголках глаз, — что дело надо так организовать, чтобы шло само по себе, хоть без начальника. Возможно, на берегу это и выйдет, в море — нет. Нас 26 человек, виден каждый, но каждый смотрит на мостик, а там стою я. И когда бы ни поднял глаза человек во время работы, днем ли, ночью, он должен видеть меня. Вот такая жизнь, Борисыч. Или сутками на мо-

стике, или плюнуть на все и спать в каюте. Нет выбора. Знаю капитанов, которые на мостик неделями не выходят. Их дело. Я этого позволить себе не могу. Я на берегу первые дни больной хожу, мне чего-то необходимого в организме не хватает, как курильщику, бросившему это дело, никотина. А мне вот чего не хватает.

Пощелкал ногтем по динамику над подушкой. На мостике у него врублены сразу три приемника, на трех частотах обшаривают эфир, и здесь один, вместо будильника, капитан спит — информация идет. Он ее во сне процеживает, и тело само реагирует на нужную, глаза открываются — а ноги уже пошли на мостик.

— Сносишься раньше времени, ну и что?

— А ничего. Зато имею полную информацию: кто, где, как, чем и что ловит. Хочешь, Борисыч, я тебе открою секрет — если есть силы, жить надо на износ. Это единственный способ добиться успеха в море. И вообще чего-то добиться. Только предельно работающий человек может спрашивать с других предельную же работу. Я, между прочим, спрашиваю. Не жаловались еще? Ну, спокойной ночи.

Ухожу. Напоследок заглядываю в огромные, похожие на экраны, стекла вдоль задней стенки рубки, за ними, внизу, — корма, где и происходит рыболовное действо, там дощатая надстройка, языком уходящая вдоль кормы, как подмостки, во время ночной ловли высвеченная прожекторами, сейчас пустая и полутемная. Корма идет, утопая во вздувающейся воде, как в подушках. Бакланы неотрывно идут за нами, врываясь в полосу света и исчезая, тоже ждут. Но еще полсуток хода до района лова.

Впрочем, с капитаном Ефимовым не соскучишься. Едва вышли мы из Холмска, на ночь глядя вызвал он тралмастера и велел вооружать трал. Тралмастер Гривцов отвечал, что на это понадобится часов шесть, уйдет ночь, проще сделать с утра, на свету, все равно в район еще не придем, а ребята нормально поспят.

На что сказал ему капитан Ефимов: «Сейчас 22.30. Срок тебе даю — до двух ночи. В два доложишь, все». И тот ушел, ворча сердито.

Мы сидели с капитаном, мило беседовали, а погода свежела, и Ефимов все чаще прислушивался к динамику. В час пятнадцать в двери встал Гривцов. «У тебя еще 45 минут, — сказал капитан, не оборачиваясь. — Отсрочек не дам». — «Я и не прошу, Александрыч, — отвечал Гривцов дерзко. — Мы все сделали». — «Спасибо, — сказал капитан, ничем не выразив ни удовлетворения, ни иных чувств, — спите».

Зачем ему это понадобилось? Из командирского самодурства: захочу — и сделаете? Ну, сделали, что дальще? Спит «Санага». Спят вымотавшиеся люди, только что ушедшие с палубы, сохнет промокшая до нитки одежда. Лишь мостик, зеленый пузырь тепла и света, бессонно и одиноко несется над черным ревущим пространством.

Зачем несемся мы, когда все суда вокруг на огромном взбаламученном блюде Охотского моря пережидают погоду, спрятавшись за Курилы, прижавшись к Сахалину. Куда несется капитан Ефимов в тапочках на босу ногу? На рыбалку в Тихий океан? А что, рыба оттуда уйдет, если мы перестанем нестись? Ладно, сегодня уже ничего не случится. Спускаюсь. Бортовая качка перешла в плавную тягучую килевую, спадает шторм. Хорошо спится на длинных волнах. Как на больших качелях.

Пронзительные звонки аврала, оживший динамик внутренней трансляции, ломкий мальчишеский голос Семеныча в полной темноте: «Палубной команде — наверх. Приготовиться к спуску трала». На циферблате четыре часа. Я подозревал, что это сумасшедший пароход.

Лезу на мостик через две ступеньки. Торопиться, собственно, некуда, палубным ребятам быстро сейчас не

встать. Я просто на лица хочу посмотреть — этого капитана и его помощников. Что они себе думают? Но лиц увидеть мне не удается, ко мне обращены спины, все поглощены слежением за приборами. Все мигает, щелкает. И тут меня начинает потрясывать возбуждение. И сомнение закрадывается в мою пробуждающуюся голову. Кидаюсь к слепящим — на корме полный свет — стеклам: этого быть не может, но это есть — на подмостках в желтых робах, красных касках, сверкающие от брызг вовсю работают палубные. Чайки мечутся. Трал, змеей уползающий в бурлящую воду, в кипяток за винтом.

Двадцати лет от роду я открыл, как с ходу определять, что за человек твой приятель. Надо разбудить его среди ночи. Тут-то и покажется тебе его истинное лицо, скрытое в жизни привычками, робостью, хитростью, воспитанием. Разбуженный внезапно человек не успевает сориентироваться, надеть маску, защититься, притвориться и — себя выдает. Много народу перебудил я в те далекие времена. Много интересного услышал я о себе самом. И такие порой чужие взглядывали на меня глаза, незнакомые глаза небезопасных в общении людей. А другие просыпались, будто соскучились по тебе. И сразу включались в разговор.

Я и не предполагал, что есть работа, одно из условий пригодности к которой — вот это нечастое (свидетельствую как очевидец) свойство — едва открыв глаза, быстро и безропотно кинуться в дело. Значит, не каждый годится в рыбаки, а лишь легкий на подъем, покладистый человек. И это примета профессии.

Цепи с грохотом ушли. Ушли, подправленные ломами, две огромные болванки-грузила, все дальше уплывают и исчезают в ночи буйки-кухтыли, экраны рисуют

поверхность дна, проходящий над ним трал, сигналы с датчика, установленного на трале, образуют странную пульсирующую фигуру. Живот ее вздувается и опадает. Это проталкивается в чрево трала минтай. «Рыба глупая спросонок лезет в сети рыбака». Жутковатый экранчик!

Выскакиваю наружу. Едва успеваю схватиться за поручень. Ветер, сшибающий с ног, забивающий дыхание, сыростью пронизывающий тело. Пар изо рта. Такая уютная из окна рубки палуба, полная света, ярчайших цветовых пятен, экзотический слайд, вблизи — как ледяная вода за ворот. Вот отчего эти веселые желтые человечки приплясывают. Их гнет ветер, выскальзывает из-под ног палуба, рукавицы мгновенно промокают, пальцы немеют. Корма взлетает, и море орет в сто голосов, гудят натянувшиеся струнами ваера — тросы в руку толщиной, ведут набиваемый рыбой и тяжелеющий с каждой секундой трал. Боцман навстречу: «Что, Борисыч, — кричит. — Помочь решил? Сейчас, я тебя на выборку поставлю. Пошли, робу тебе подыщу, есть у меня одна новенькая. Постоишь вон там. Только под ваер не попади — убьет. И под ногами не болтайся. Да ты не обижайся, тут у нас сноровка нужна». Чего мне обижаться. И не собираюсь я болтаться ни под какими ногами. Хорошенькое буду я представлять зрелище в новой робе возле работающих людей...

Трал приходит. Тугой, набитый рыбой мешок-кутец лежит на подмостках, гигантская серебряная колбаса, его распускают, и рыба ливнем — на палубу. По колено в рыбе, сплошь в чешуе распределяют палубные поток по клетушкам, на которые разгорожена корма. Тысячи лупоглазых рыбин, окрасивших палубу кровью, слизью покрывающих руки, одежду, лицо, тысячи рыбин, задыхающихся, хрупающих под сапогами, раздавливаемых заслонками, забивающих щели, живое месиво, в котором работают люди. И тут кончается красивость, и проступает бурое скуластое лицо рыбацкой работы.

Хорошо, если цел трал, тогда — спать. Если нет — тут же латать прорехи, час, два, может быть, четыре, и тут же снова готовить его к лову. Потом в каюты и — в койку, едва нащупав руками ее. Они спят как убитые. Можно их тормошить, можно громко при них разговаривать, песни петь. Как под гипнозом, они настроены лишь на один звук. На пронзительное авральное верещание, создатель которого, несомненно, ненавидел человечество. Они в забытьи час, второй, но эхолот нащупывает рыбу, и звонки подбрасывают их с коек, и они ныряют в свои клеенчатые несуразные робы и несутся наверх. И снова часами на взлетающей палубе, танцуя под ветром, получая пригоршни ледяной воды в лицо и за ворот. Июнь на земле, на сопках Итурупа снег.

Так они работают месяцами, без выходных. Так они работают и зимой. Этого я не видел и представить не могу. Их работа — одна из самых тяжелых на земле. Видимо, так, как они, живут только воюющие люди.

Утро. Голос Семеныча по трансляции: «Судовое время — 7 часов 25 минут. Команда приглашается на завтрак. Приятного аппетита». Один сижу я в кают-компании, кормит меня одинокого одинокий же рыжий кандей Володя. Приятного мне аппетита! Никто на призыв Семеныча не откликается. Спят.

— Александрыч! — пристаю к капитану. — Ты зачем мучаешь людей?

— Поживи у нас, — отвечает, — и не будешь спрашивать.

Глаза его смеются, а челюсти пошевеливаются тяжело и недобро.

Живу и замечаю, что с человеком, ступившим с берега на палубу, превращение происходит разительное.

Тралмастером на «Санаге» Николай Иванович Гривцов, человек доверчивости и беззащитности совершенно детской. Иваныч известен тем, что на берегу раздает заработанное всем, кто ни попросит, и без денег оказывается в мгновение ока. Кому триста, кому четыреста. «Иваныч, а они тебе отдают?» — «Да я же не спрашиваю. Но ведь если мне понадобится — попрошу у кого-нибудь». Эта его святая вера в то, что выручат в конце-то концов, ни разу его, кстати, не подводила.

И этот самый Иваныч в прошлой экспедиции гонял палубных так, что к концу ее, когда тоска по берегу и усталость скручивают «самых задумчивых», ребята уже и огрызаться перестали, и только Юра Золотов, второго класса матрос, в тоске безудержной и приступе откровенности возопил на всю палубу: «Что же ты гоняешь меня, Иваныч! Мне ласки не хватает! Ласки мне надо!»

Это мне так повествовали те самые матросы, которых и гонял Гривцов, причем с восхищением — вот как он нас! И хлопали Золотова по плечам, а тот застенчиво ухмылялся и подсказывал забытые детали, сам восхищаясь — ну, меня допекло!

Да что же это творится! Нравится им, что ли, когда их тиранят?

— Иваныч! — спрашиваю. — А надо ли так жать на людей?

— Надо, — отвечает с глубокой убежденностью. — Иначе заскучает человек, а хуже этого в море нет ничего. Это не мы друг к другу беспощадные, работа у нас беспощадная. И передышка в ней — не на пользу, а во вред. Если выберется пустая минута — хватай тут же что-нибудь и делай руками, нельзя останавливаться. У нас механик парусники режет — в магазине таких не увидишь. Эх, Борисыч, погоди, сделаю я тебе один подарочек! Вот время выберется, свяжу тебе такую мочалочку, в Москву повезешь, там все ахнут!

Не лодырей гонял Гривцов, а работяг редкостных,

способных, поспав два часа, вновь безропотно кинуться на палубу. Так-то оно так, только здесь и этой способности недостаточно. На палубных работает все судно. Вахтенные ищут им рыбу, механики везут их на место, где они и выходят на подмостки. Они — те руки, которыми вынимается из моря общая добыча.

Вот почему моментально взвинчивается беззащитный на берегу Иваныч. И ярость его в эти минуты граничит с полным отречением и от себя и от всяческой субординации. Он мечется на корме с микрофоном в руке, умоляя, угрожая, заклиная, подсказывая, подхватывая срывающийся трос, и хриплый голос его перекрывает рявканье шторма, а слова привести я не в силах, хотя слышно их не только на мостике, но, полагаю, и жителям Японских островов.

Один раз он дара речи лишился. Это когда вахтенный передержал трал, набив его рыбой невмоготу, и тот оборвался, выдернув здоровенные крепления, только свистнули ваера, шарахнулись палубные, и ушел трал под воду со всей добычей. Гривцов, уже накричавшийся в сторону мостика: чтоб кончали тралить, дали выбрать, — захлебнулся. Зрелище было не для слабонервных. Он пошел, как медведь, на окна мостика, булькая что-то бессвязное, а потом запустил в мостик микрофоном.

— Зря я тогда вахтенного напугал, — сознался мне Иваныч. — Я сам виноват. Думал, там капитан, на мостике, как всегда, понадеялся. А там оказался этот мальчишка. Он и без того передрейфил. Да я еще психанул. А должен был заранее его предупредить, чтоб не зарывался. Трал новой конструкции, как себя поведет — неизвестно. А я его, как получили, двое суток вот этими руками перебирал. Может, я один на весь пароход чувствовал этот трал. А вот не предупредил!

— Знаешь, почему я Гривцову полностью доверяю? — спросил меня капитан Ефимов. — Потому что причину неудачного лова ищет в себе. Самое простое —

валить на соседа. Стоит начать выяснять отношения — все окажутся чистыми. Только рыбы нет. А есть она тогда, когда каждый спросит с себя. В нашем деле — каждый за себя должен быть в ответе. Такая формула. Не за всех, за себя.

Хорошо. Однако когда замечательный Гривцов опоздал из отпуска к распределению ролей, капитан ждать его не стал, а взял, секунды не промедлив, старшим тралмастером Борю Гончарова, парня на вид здоровущего, но команде неизвестного. Иваныча же принял тралмастером под Борино начало. И, кстати, именно Гривцова, а не нового старшого, вызвал на ночь глядя для вооружения трала и возражениям вполне резонным не внял, я свидетель. Это как понимать? Как наказание?

А чем объяснить безудержный бег через шторм, когда все вокруг пережидают погоду? Куда они несутся, один другого подгоняя? Работают три радиоприемника, эхолот включен, а механики гонят «Санагу». Зачем торопится капитан Ефимов? Ради чего?

Вынули первые девять тонн, подошли к базе сдавать, как щепку, прибило «Санагу» к уходящему в небо борту базы. Взлетая на волне от первого к пятому этажу, приладились переливать рыбу, Ефимова подняли в кошелке представляться. Капитан-директор хитро ему подмигнул, руками развел: «Ну, молодцы! Это по-рыбацки! Подошли в район уже с рыбой!» Так ради этой похвалы и гонял команду Ефимов?

Не стал я его об этом спрашивать. Я сам хотел все понять, я жил, смотрел, и вдруг гонка кончилась. И я догадался. Потому что увидел последовательность событий. А они разворачивались вот как. Отошли от базы. До ночи чинили порвавшийся трал. Ночью тралили дважды, хотя погода опять временами подходила к 7—8 баллам, при которых ловить не разрешает техника безопасности. В принципе «Санага» может ловить в шторм, у нее кормовое траление, но это решает капитан в зависимости от способностей команды. Суда с борто-

вым тралением штормовали. «Санага» вынула еще 20 тонн. Приняли радиограмму: база перемещается к Сахалину, здешний район исчерпан. «Санага» пошла обратно. Все, кроме вахты, беспробудно спали.

Что было бы, поступи капитан Ефимов, как подсказывал здравый смысл и позволяли инструкции? Он бы пришел в Тихий океан, здесь вооружил трал, но из-за шторма переждал денек, а утром отправился обратным маршрутом, лишь солоно похлебавши. Он сжег бы прилично горючего, но упрекнуть его было бы не в чем. А сейчас на счету у «Санаги» худо-бедно 30 тонн рыбы есть. Не зря сходили.

Значит, надо торопиться. Успевать. Жить — бе́гом. Так они и живут. Боцман Николай Михайлович Андрейкин в первые же хлопотные дни так разбежался — ногу подвернул. Но забинтовал ее, в тапок засунул и темпа не снизил. «Михалыч, — говорю, — ты бы передых дал ноге». — «А не могу, — отвечает. — Я, веришь, даже в отпуске бегаю. Пришел в парикмахерскую, занял очередь и бегаю вокруг нее, того подгоню, этого отгоню. И вдруг мысль ко мне пришла: чего я всех затюкал — я же в отпуске, мне и торопиться-то некуда, а эти люди, может, с работы или в гости опаздывают. Сел, прямо руками себя за ноги держу. Посидел минуту, смотрю, батюшки, опять я куда-то несусь и на кого-то кричу. Что я за человек вредный на земле, нет от меня людям спасения!»

От рыбака нечасто услышишь «мы». Но сколько угодно скажет он «я». «Снимал я раз рефрижератор с камней, представляешь, на камни они его посадили!» То есть «они» коллективом его посадили, а он один пришел и снял. Это будет повествовать какой-нибудь тщедушный матрос второго класса, участвовавший в спасательных работах в роли повара. А какая работа в море делается в одиночку? Нет таких работ. Более того.

Это он сегодня по судовой роли матрос второго класса, а в прошлый раз, вполне возможно, шел боцманом или тралмастером. Судовая роль — не есть название специальности. У нашего боцмана, кстати, диплом капитана малого плавания. Рыбак многолик. На спрос. Понадобился уходящему судну специалист — он пороется в своем запасе и, пожалуйста, нужное извлекает. В запасе у рыбака специальностей — на целую команду. Ему бы как раз впору именовать себя «мы». Значит, дело тут не в местоимениях. А в чем?

А в том, что себя рыбак сильно уважает. Потому и зовут они друг друга по отчеству, вне зависимости от возраста. Однако в море согласен идти рыбак, как бы ни уважал себя, в любом качестве. Неувязка. «Боря, объясни», — прошу Борю Гончарова, который прежде и штурманом ходил на малых судах, а теперь у него Иваныч в подчинении. Боря, парень ширины необыкновенной, занимает собой полкаюты, до моей темноты снисходит: «Я полгода дома сидел, думал — все, с морем завязал. Каждый вечер являюсь с работы домой и сижу. Жена вокруг меня ходит, аж светится. А я чем дольше сижу, тем мне тошнее, ночами спать не могу. И тут мне дают пароход! Я собрался — Надя ко мне кинулась, обхватила вот так, руки накрест: «Не уходи!» Я ее в щеку — чмок! — обошел осторожненько, пока не отошла, — и сюда! Засосала меня эта работа. Рыбалка — дело для азартных людей. Мы — люди удачи! Сказано: в море найдешь ты счастье свое!» И запел свою любимую, поводя пудовыми плечами: «Однажды судно придет домой, когда перестанут ждать! Ведь если на свете нет чудес, значит, и света нет!» Лихой парень Боря Гончаров.

Азарт — это понятно. Но ведь еще — работа. «А денежки? — задушевно спросил меня Боря, оторвавшись от пения. — Ты на Гаваях был? А я был. Не жалей. Ничего особенного. Жарко и сыро. Пришли мы с Гаваев, приустали, и поехал я в город Сызрань. Вот ме-

ста! С товарищем поехали, думаем, не понравится в Сызрани, махнем в Сочи, у него «Жигули». Но понравилось сильно. А без денег — поехал бы я в Сызрань? Нужны ха-арошие деньги!» Что ж, это уже объяснение.

Тот, кто пошел в море на «Санаге», пустым не вернется.

Сахалин знает, что годовой улов взял Ефимов всего за четыре первых месяца, а за все пять месяцев экспедиции сдал на полторы тысячи тонн больше плана. Ловили зимой, начав с декабря, самое невыносимое время. Ну и что же может помешать Ефимову сделать сейчас второй план? Ничего не помешает. А стоит это больших денег. Снова мы в том же круге. Хорошо, поговорим о деньгах.

Многих я расспрашивал, но безотрадная получалась картина, никто не смог похвастаться денежным изобилием: накоплениями, дачами — все как-то между пальцев утекало. Ефимов дал родителям денег на кооперативную квартиру. Машины есть у некоторых. Но что им они? Купили, и стоят их машины — на берегу живут рыбаки недолго, а куда ездить на Сахалине? Можно, конечно, как Боря Гончаров с приятелем, махнуть и в Сызрань, но вряд ли это выйдет комфортабельное путешествие.

Отпуск на материке, как правило, заработанное съедает. Деньги — средство пожить насыщенно береговой жизнью, в том или ином ее варианте. Правильно о них сказано — средства. Не цель. Рыбак на пределе возможностей своих работает в море. А потом дорывается до берега и жадно глотает жизнь, от которой отвык, потому что ее заменяла работа. Но вот хитрость — он быстро наедается берегом, и уже охватывает его черная тоска, и снова кидается он в рыбалку, чтобы выложиться здесь. И пульс его замедляется, как у марафонца во время бега, потому что бег для него более привычный способ жить. И так — бесконечно.

Рыбацкое дело — одно из немногих в наши дни, дающих возможность человеку жить в двух измерениях,

двух контрастных и насыщенно острых состояниях попеременно. Они живут на износ, но проживают две жизни.

И здесь единство противоположностей. Стоит начать жить для берега, для него выколачивать деньгу — кончился рыбак. Он уже не набрасывается на работу, он сберегает себя. А беречь себя для берега в море нельзя.

Аврал, палубные вылетают на корму. «Пацан первым вышел!» — так, ни для кого, в воздух, замечает стоящий возле меня старпом. Пацан — это практикант Андрюша Коршун, еще даже не матрос, совсем молодой, первый раз в море, с него вообще никакого спроса, но ведет себя как надо, хотя ему достается тяжелее всех. Гривцов, естественно, на палубе, он первым выходит всегда, этого никто и не отмечает: иначе не бывает. «А старшой где?» — так же, между делом, интересуется капитан. «Гончарова не вижу, — отвечает старпом. — Нет, вышел, встал на лебедку». — «Тяжелую работу подобрал паренек, — замечает задумчиво капитан. — Ну, ничего, плечи у него здоровые, на кнопку нажать сможет. А Гривцов, значит, вместо него на корме командует?» — «Наш старшой трала боится, — зло басит старпом. — Ему бы хоть глянуть на него, когда вооружали ночью, но ему некогда было, в каюте спал, силу копил, утром, правда, завтракал хорошо».

Пришла «Санага» на Сахалин. Сел Боря Гончаров в отправлявшийся на берег катер и не вернулся, там его списали.

Оставшиеся смотрят на мостик. А там стоит капитан Ефимов. И по лицу его не угадать, нравится ему происходящее или он к нему безразличен. И мысли его никому не ведомы. Ведомо, что, когда бы ни поднял ты к рубке глаза, всегда увидишь его лицо. Ведомы команды, которые следует выполнять немедленно и не раздумывая. Как сказал поэт: «Мощь шести тысяч лошадей Во имя одного, Строй уходящих кораблей, Гнев —

двигатель всего»? «Нет, — сказал мне Ефимов, — не гнев. В море главный двигатель — личный пример. Такая у меня выучка».

Да? Кто же это его так выучил? А выучил его в свое время Виктор Александрович Филатов, преподаватель мореходки, человек, о котором едва начинает Ефимов говорить, как густой и низкий голос его поднимается до тенора и сразу становится видно, каким был капитан в восемнадцать лет. Чем-то вроде Семеныча. Я так понял, что все они там, в мореходке, на Филатова молились. А Ефимов мне сознался, что, уже собственное судно получив, вел себя так, как, казалось ему, вел бы себя Филатов.

Неотразимым легендарного Филатова делали не слова, хоть он и учил делу именно словами и даже учебник написал. Однако слов его ни разу Ефимов мне не привел, а приводил — поступки.

Плавали на паруснике, Филатов был руководителем практики. На верхнем марселе ставили паруса. Первый раз полезли мальчишки наверх. С дрожью. Филатов смотрел на них с непроницаемым лицом. Он понимал, что им страшно. Что сделал бы на его месте другой воспитатель? Подстегнул? Высмеял или выругал? Но Филатов знал, как снять страх, не насилуя испугавшегося. Он стронулся с места, ничего не сказав, и, всех обойдя, не влез, а прямо-таки вбежал на марсель, прошел по марс-рее, ни за что руками не держась, на ходу прихватил у кого-то рукавицы, и ж-ж-ж — вниз по штагу на палубу, на одних руках. И это был не цирк, а будто он по делу слазил наверх, кого-то о чем-то спросить. И кончился страх. Его ученики закрыли рты, потому что поняли, как надо себя вести. После они повторяли филатовский финт как обычное дело, но это было потом.

Филатов вел себя по правилам, которые складывал морской человек с тех, видимо, пор, как вышел в плавание первый какой-нибудь там бальсовый плот, я не

знаю. Нигде эти правила не написаны. Они существуют в виде поступков, в форме поведения на судне. И основное в них — если ты сделаешь свое дело плохо — это не значит, что кому-то придется взять его на себя, его вообще не сделает никто, потому что нет на судне лишних рук, а каждый уже работает на пределе. Схалтурив, ты не какую-то там гармонию доверия разрушаешь, ты перекроешь команде воздух. Выложившись же полностью, ты только выполнишь отпущенное тебе.

Так ведет себя Ефимов. Непроницаемо его лицо, наглядны его поступки, на них и ориентируется команда. Не просто специалисты собраны в ней, но люди, легко заражающиеся поведением капитана. Не мог не списаться Боря Гончаров, потому что главная его беда — не в малом опыте или знании, опыта у него хватало. Беда — в стойком иммунитете, в незаражаемости.

Впрочем, так всегда бывает. Настает работа и отсеивает людей. Плохо, когда поздно, через недели, а то и месяцы плавания. Еще и потому в первые же дни со свирепостью необыкновенной гонял команду капитан Ефимов. Он предпочитает выявить слабые места рано, а не поздно.

— Теперь я уверен, что каждая служба не подведет, — сказал он мне наконец. — Возьми движок. Ты обратил внимание перед отходом — механики мотор разбирали на палубе? Стармеха среди ребят видел? Видел. В чем и хитрость. Он все права имел приказать им работать, а сам мог идти гулять. Тем более что ребята у него — золото. Но он вместе с ними возится, и пока за всякую железку в моторе не подержится, не спокоен. Помню, у нас один РС брал топливо, и поднялся к нам на борт их старший механик. Наш дед возится в мазуте со шлангами, а тот стоит в пиджачке и наблюдает. А это ведь не он нам топливо дает, мы ему, от щедрот наших. Такого человека я к пароходу близко не пущу.

Кого же пускают? Я рассказал стармеху байку о

том, как принимают в пираты: встаешь в очередь, боцман в черной повязке вышибает тебе глаз из рогатки и сразу же выдает черную повязку. Наверх по трапу лезут уже точные его копии. Стармех Анатолий Иванович Михайлов, человек ворчливый, строптивый, въедливый, типичный, в общем, «дед», рассказ мой выслушал с большим одобрением и заметил: «Сам видишь, всегда так было! И я своих ребят подбираю под себя». В самом деле, все они у него, как один, ворчуны и педанты. «Михалыч, — интересуюсь, — как это ты угадываешь?» — «Так я с каждым разговариваю, я его понимание хочу увидеть, как он машину себе представляет. Не устройство, это книжку взял и прочитал. А машина, она ведь — не железо. У нее характер, у нее привычки, капризы. Она любит быть ухожена. Она как человек, точнее, как женщина. А разве можно любить женщину только за пользу в хозяйстве, допустим? Нельзя. Видишь, так и здесь. Нет, я тебя вниз не пущу и не проси, там ребята еще не прибрались, не могу я ее тебе неприбранной показать. Это мы уж по-домашнему с ней. Да не расстраивайся, увидишь, обещаю. А мой человек должен и думать, как я, и наружностью даже быть мне приятен. Мне с ним полгода жить. Я жену так подолгу не вижу. Лучше жены я его и выбираю».

Так вот и получается, что плывут на «Санаге» только «свои» люди. А случайно затесавшиеся быстро ее покидают. Почти тот же состав ходил и в прошлую экспедицию. Это весьма непросто — сохранить «свою» команду. Как правило, у рыбаков такого не бывает. Не получается. Всякий раз у капитана другая команда. А у Ефимова — «своя», за малыми изменениями. «Очень трудно собрать одних «своих», — сознался Ефимов. — Но я стараюсь. В общем-то все стараются, но не у всех получается. А наши просто сами на берегу особенно не расползаются, держат ухо востро. Я в отпуск собрался, а старпом мне говорит — я тоже в отпуск пойду, а то посадят на другое судно, и когда-то еще свидимся. А

старпом наш, между прочим, сам готовый уже капитан, мог бы и самостоятельно ловить».

И об этом я слышал на берегу. Саша Рябов, Александр Владимирович, старпом — капитан еще и потомственный, Ефимов у его отца третьим помощником ходил. А за «Санагу» Рябов держится.

— Владимирыч, как же это так?

— А вот так! — отвечает старпом, и все с ним становится ясно. Потому что говорит он — голосом Ефимова. Так же густо и медленно, обрушивая фразу на человека. И так же упирается в тебя глазами, хочет своротить. И ходит, как Ефимов. Лицо только другое. Но через минуту о том забываешь. На берегу слышал я чей-то пораженный возглас вслед Рябову: «Глянь-ка, мини-Ефимов!», чем, как мне показалось, сам Владимирыч был не только не смущен, но явно польщен. — Я не все еще взял здесь из того, что мне надо, — сказал он мне. — Вот когда возьму, тогда и уйду.

Нет, не дается счастье в море сразу и полной горстью. А надо выжимать его у судьбы — по капле.

Как и полагается настоящему искателю добычи, есть у Ефимова в этом деле свой личный почерк. «Я много ловил, с разными капитанами, — сказал мне Гривцов,— а такого чутья, как у нашего, не встречал. Помнишь, трал порвался? Так он у меня, когда трал еще был под водой, спросил: «Что с тралом?» Я говорю: «Нормально». А сам заволновался. Выбрали — дыра. Ах ты, дьявол! А он ее с мостика почувствовал! Я думаю, он по ходу судна ее определил, как-то, наверно, стало неровно идти. Хотя тут почувствовать вроде невозможно, рыба-то в трал шла, лишь часть уходила, но, значит, как-то шевелила кутец, вот он это и почувствовал!»

— Это разве чутье, — отозвался на мой вопрос Ефимов, — просто навык. А вот что капитанов отличает, так это привычки. В шторм, например, все ведут себя

по-разному. Я, допустим, от шторма не ухожу. Вовсе не из пижонства. Считаю, что это лишь времени трата. В 1981 году на Сахалин пришел тот самый тайфун, до сих пор его поминаем, а мы на восточном побережье ловили минтая. Приняли прогноз, все закрепили, задраились и начали штормовать. А остальные суда в темпе ушли на север. Мы всю ночь болтались, а утром тайфун пошел именно на север, догнал там весь флот и так его трепанул. А я в шесть утра уже шел с тралом.

На берегу Ефимову снятся море, рыбалка, переходы, чудятся радиоголоса. Снится работа. В море — не снится ему ничего. Та часть его мозга, что заведует снами, прислушивается к динамику над подушкой, она включена в явь. Именно здесь, а не на берегу происходит то, что определяет всю его жизнь. Счастье ли это — не знаю. Он полагает, что счастье.

Путь к себе, путь к тому, чтобы «быть» в жизни, а не казаться чем-то, становится, как видим, преодолим, если рядом близкие люди.

А если жизнь устроится так, что придется остаться одному? Все пропало? Способен ли человек устоять в одиночку? Выстроить себя? Способен, я таких встречал. Сейчас расскажу.

ХРОНИКА ДВУХ ДНЕЙ, ИЛИ ОЛЕНЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ

День первый

Июнь в Приморье. Тайга в жасмине, одинокие громадные желтые цветы распустились в папоротниках. Грязный шрам дороги. Грузовик продирается по нему, окунаясь в безбрежные лужи, выкарабкиваясь и снова влезая в колеи, кузов накрывает ветвями, и мы пригибаемся до колен. Впереди — запрятанное в распадок

огороженное пространство, на котором живут пятнистые олени. Одно из еще уцелевших стад.

Чистый склон наконец. Внизу открылась долина в паутине проволочных сеток, ворота в этот лабиринт, а ближе — два замечательных желтых цветка. Не совсем такие, что встречались в тайге. И ветер не гнул их. И это отсюда они с мизинец. А до них с полкилометра. Нет, не цветы. Вытянувшись из травы, изумленно смотрят два тонких печальных зверя в пятнах, как в солнечных зайчиках.

Они всегда обращают к вам глаза свои потрясенно, будто вы первый увиденный ими человек. Если бы хоть изредка взглядывали так на нас людские глаза. Китайцы называют этого зверя хуа-лу. Олень-цветок.

Их так мало на земле, что изумление наше взаимно. Смотрим друг на друга, обомлев, — человек и зверь.

Но эти два оленя замерли снаружи изгороди. Дикари? Тогда почему не наутек, тем бегом, который вырывает тело из-под запрокинутой головы?

Кряхтя, останавливается грузовик. Из кабины протянулась к нам рука зоотехника Михайлова, бригадир вложил в нее карабин. Михайлов вылез на подножку, уперся спиною в выступ кузова, карабин хлестнул сочно — щ-щ-щелк! — подбросило вверх один цветок, щ-щелк! — взлетев и перевернувшись в воздухе, упал на землю второй. Нет, не дикари. Беглецы.

До чего простая штука смерть. Грузовик тронулся, въехал в ворота, кто-то отправился подобрать желтые тушки, остальные, рассыпавшись цепью, погнали вынырнувший из кустов олений табунок. Звери уходили перебежками: застыв, всматривались в загонщиков, и уносились беззвучно, как листья, гонимые ветром, оказываясь в недосягаемости, но сеточный лабиринт сужал и направлял путь их, и вот они оказались стиснуты маленьким дворовым пространством, сзади стукнула щеколда, и дорога на волю осталась одна — через уз-

кую щель панторезки. Но уже без рогов, с обесчещенной головой.

На заборе ссохшиеся, гремящие как жесть пятнистые шкуры таких же, видимо, бедолаг, поплатившихся за самовольство. Сидим на завалинке. Солнышко пригревает. Восемь мужиков-оленеводов в сапогах и ватниках, приехавших резать панты, покуривают, жмурятся, отходят от утренней промозглости.

— А если бы, — спрашиваю зоотехника Михайлова, — попробовать этих беглых отловить?

Лицо зоотехника идет желваками, и он отвечает терпеливо, глядя куда-то поверх сопок: «В тайге-то? А не успеем. Заинтересованность в олене большая. Другие успеют прежде. А им он достаться не должен. Потому что — казенное имущество».

Тут соседи мои по завалинке зашевелились, разом завставали, поплевали на окурки и пошли делать то, ради чего сюда явились.

Зрелище не для слабонервных. Панты режут, пока они еще молоденькие, набухшие кровью, подающиеся под пальцем, покрытые персиковым пухом. Эти сосуды для распирающей их гулевой крови — живая плоть оленя. Ее и режут. Стиснутый панторезкой олень напряжен, как нарыв. Тонкой пилой зоотехник Михайлов в несколько взмахов отхватывает один рог, второй, кровь ударяет из-под пилы. Из оленя бьет крик, захлебывающийся, он тонок и пронзающ. Выпущенный из тисков, зверь взлетает в воздух невероятной силы прыжком, пережитое подбрасывает его под верхнюю поперечину ворот, после чего он уносится, стелясь над землей. Но и во время сумасшедшего этого бега проносит голову, как наполненный водою сосуд, уводя ее от веток, чтобы не задеть и не поранить панты, которых уже нет на нем. И несуществующие, долго он будет их потом охранять, и в брачных парах бить лишь копытом. Следующей весной панты набухнут на голове его вновь, чтобы быть срезанными.

Меня хватило минут на пятнадцать, и я ушел за ворота глотать воздух, но каждый новый вскрик входил острием между лопаток. Потом все кончилось, ко мне подошел Михайлов, руки от крови уже оттер.

— Ну ладно, — сказал он мне. — Кончай страдать. Ты пойми главное: оленям без нас каюк, в наши дни они — как малые ребята. Но и нам, учти, каюк без них, это я за каждого из мужиков говорю. Слишком большим потом достался нам этот оленник. А жестокость, куда ж от нее денешься? Жестокость — плата за жизнь.

Ничего афоризм? Нет, не прост и не однозначен Михайлов, понять его я пока не могу. Мешает что-то, встает внутри меня на дыбы, желая заголосить.

С шофером Володей Малковым уехал я на стареньком его ГАЗ-157 оленей поснимать, машины они не боятся. Он жаловался, что грузовик его измучился на здешней дороге, всю зиму и весну по ней, жуткой, возил на оленник силос, лозу, веники, надо подкармливать зверей, а то помрут. С Володей Малковым все было ясно. Он — кормилец по должности и по характеру своему. Он — милосердие. Потому ни разу и не заставил голодать оленью ораву, а мог запросто, дорога оправдала бы любой отказ. Но ему «совестно перед ними, они же сидят тут, дурачье, дожидаются».

С кормильцем ясно. А у остальных — что? С мужиками взялись мы прикинуть, сколько понадобилось сетки, чтобы огородить 2200 гектаров оленника. 23 километра наружной сетки, а с системой внутренних перегородок, отделяющих рогачей от оленух и молодняка, набиралось более 40. Рулоны тяжеленной металлической сетки предстояло не просто привезти, но растащить и поставить на 40 километрах тайги. Тракторы не пробились в глухомань, вязли и глохли. И получилось, что основную работу должны были совершить люди, согласившиеся стать оленеводами, то есть само существование оленника в совхозе «Туманово» оказалось в зави-

симости от того, управятся ли они с этой работой. Это была непосильная работа. Но они за нее взялись и с ней управились. На собственных плечах, поедаемые мошкой, перетащили в тайгу и поставили в чащах и буреломах всю сетку. Так появился на земле еще один олений парк. Почему они это сделали, объяснил тот же Михайлов: «Олень, — сказал он мне, — тоже хочет жить». И этот второй его афоризм понравился мне гораздо больше.

Остается связать два афоризма, и тогда становится явным, что содержание оленей за проволокой — лишь наполовину забота о вымирающем виде. На вторую — очевидный расчет: никуда не денутся рога. Олень, конечно, одно из звеньев экологической цепи, но при этом он многим из нас — во спасение: в пантах поразительная лечащая сила. Это волшебный стимулятор, кстати, на пантах-то и на женьшене, как на китах, стоит древняя восточная фармакология. И до сих пор весь мир платит за них — золотом. У нашего оленя — золотые рога.

Парадокс, но сам по себе он к ним лишь приложение. В виде мяса и шкуры олень чуть ли не вдесятеро дешевле собственных рогов. Оттого и погибнет, очутившись в тайге. Слишком лакомая приманка для браконьерской винтовки. Потому главный радетель за живущего в парке оленя — зоотехник Михайлов — и бьет его, беглого, из карабина, секунды не медля, хоть трижды сердце кровью обливайся. У него выхода нет.

Но рога, приносящие оленю бесхозному смерть, подарили ему как виду жизнь. И, будьте уверены, спасут и далее, пока есть на них спрос.

Противно, конечно, так впрямую зависеть от рынка, но олени-то об этом не знают. Они заходят во двор с кормушками, когда там появляется еда, но, подрагивая, стоят в стороне и ждут, пока уберется восвояси их кормилец. Эту особенность давно заметили специалисты:

«одомашненные» олени прекрасно знают ухаживающих за ними людей, но и им не доверяют.

Еще бы. Вся история оленя — это история дикого и массового избиения. Охотились за рогачами — умирали все звери подряд. Ловчие ямы и капканы от разборчивости далеки, глотают и кусают все, что ни попадет. Собаки, с которыми устраивались загонные охоты, естественно, тоже не церемонились. Люди уносили рога, предварительно лишив жизни их обладателей. И однажды недоверие к истребителю-человеку вошло в гены оленя, в его родовую память. Не понадобилось ни летописей, ни воспоминаний очевидцев.

Заметим, что человек, ухаживающий за оленем сегодня, на недоверие к нему зверя не обижается. Поскольку, если бы вдруг возникло доверие, боюсь, срезание пантов превратилось бы в мучительство для обеих сторон.

Взаимоотношения восьми людей с 2500 оленями — чисто деловые. Такие, какие из века были заведены на крестьянском дворе. Человек сохраняет животное, взамен беря дань тем или иным продуктом.

Стесняться ли этого, жеманно закрывая глаза на неэстетические подробности? Стыдно стесняться, нельзя отворачиваться. Человечность — не есть слезливые переживания, это трезвость в отношениях с природой, где все — взаимозависимость и взаимоуступки.

По-моему, я убедительно рассудил. Я — молодец. Но тут ко мне приблизился Виктор Васильевич Фуласан, старейший в звене оленеводов, раскосые глаза его на широком коричневом лице смотрели на меня приветливыми щелочками, а в руке он нес только что срезанный пант. На корешке его кровь выступала росой. Ярко-алая кровь, которую Фуласан слизывал с видимым удовольствием, а она снова набегала. «Лизни!» — сказал он мне поощрительно. Он меня угощал. Надо быть последовательным, сказал я себе, внутренней рукой взял себя за внутреннее горло и лизнул. Вы пробовали свежую

кровь? Вкус сладких сливок или крема. Нет, скорее вкус чувства, при этом испытанного. Долго преследовал меня этот страшноватый нежный привкус. Я и сейчас могу его восстановить. И так же качнется земля. Да, изменился человек. Но таковы условия игры с оленем.

Ночь среди сокровищ

Ночевал я на пантоварне. На склоне сопки, в тайге, далеко от жилья. Приземистое обшарпанное барачного типа строение, обычно заброшенное. С июня по сентябрь это жилище пантовара Сергея Барышева.

Угрюмое местечко. Здоровенный сторожевой пес у дверей, тяжелые засовы против лихого человека. Оружие на стене. Панты — рядами, грудами, на многие тысячи рублей золотом. Посредине — Барышев, с гуляющей по лицу ухмылкой этакого недоросля и прогульщика в выпростанной из штанов клетчатой рубахе, распаренный, широкий, сидит в своем логове, как в сейфе самодельном или ломбарде, среди диких своих богатств, в завалах золотых рогов.

Кипят котлы кипучие, пышут жаром печи, тяжелый запах вываривающейся кожи и крови. Огромная лежанка в жилой каморе с несменяемым одеялом, самодельные табуреты, столы. Затоптанный пол. Мужская здесь хозяйствует рука.

Всю ночь шастает Серега по запертому дому, гигантские тени проносятся по стенам и потолку. Он то варит панты в котле, то закладывает их сушить, то укладывает рядами остывать, потом с гвоздиком ходит и выпускает набежавшую в складочки кровь. Потом забирается в котел, где варилось его варево, и там купается, греясь в мутноватом бульоне. Потом укладывается возле меня на могучей лежанке и запускает такой храп, что пес под окном взвывает спросонок. Тяжелый наваливается сон.

Выстрел над ухом! Адреналин подбрасывает меня.

Серега, ухмыляясь, вешает на стенку ружье. Сундук напротив прошит картечинами.

— Чего резвишься?

— Да крыса вылезла из-за сундука здоровая.

— Ну и что?

— Что! Разве ее картечью возьмешь! Ушла. Ты спи, это она тобой любовалась. Новый человек.

— А что, обязательно надо картечью, ничего под руку больше не попалось?

— А одни пули. Если б медведь!

Да, измельчал пантовар. В Сергее от силы 90 килограммов, а вот в отце его, который ростом был еще меньше, выходило за сто. Зато он, встретивши раз медведя, просто насадил его на нож за неимением другого оружия. Он на спор пять мешков цемента поднимал и уносил в неизвестном направлении, вынуждая спорившую сторону бежать себя разыскивать — подвиг Сергею уже не по плечу. Вообще-то Барышевы все были здоровые ребята, и старший Сергеев брат — тоже ничего. Их как-то приходили бить вшестером. Случай этот помнят соседи и посейчас. Очень было интересно. Барышевы своих противников кидали на улицу, взяв каждого за ворот и за штаны. Все шестеро заходить обратно раздумали, поотряхивались и поковыляли восвояси.

А знаменитый приморский пантовар Петр Петрович Довбня весил 170 килограммов, и тоже при малом росте. Сидел не меньше чем на двух стульях. Я вот думаю, может, в этом нарастании веса параллельно мастерству что-то есть?

Именно Довбня, явившись однажды к Сергееву отцу, уже считавшемуся пантоваром что надо, уселся на свои два стула и принялся за его действиями критически наблюдать, чего никто не любит. Довбня был тогда приемщиком пантов, сам уже не варил. Вот он сидел, сидел, а потом выхватил из груды, что тащил отец Барышев, один рог, повертел и сморщился: «Плохо он у тебя подтянут, Николаич!» Отца прорвало: а ты пока-

жи, раз такой умный! Тот закряхтел, поднялся и большим таким кубарем покатился к баку, распарил пант, подтянул: отец обомлел. Оказался Довбня пантоваром первейшим. Барышев-отец всегда себя сильно уважал, а тут просто взмолился: научи! И Довбня стал его учить и все ему показывать. А у него наука еще от китайских пантоваров.

Так и выходит, что свое умение отец Сергея получил от лучшего пантовара Приморья, так сказать, из первых рук, эту-то науку сын его и перенимал.

Варение — дело кропотливое, муторное, с секундомером и термометром. Варка консервирует пант. Он может потом храниться годами. Но это лишь половина работы, далее самое хитрое — доведение панта до товарного вида. С каждым возится пантовар, как с ювелирным изделием. Зато и выходят из его логова рога неописанной красоты, с тончайшими и нежнейшими переливами красок по пуховой поверхности. Это художественное произведение — самодельный консерв — и везут за моря и горы. А делает его Сергей Барышев. На несколько месяцев запирается в своем убежище, на вес принимает панты с оленника и, отвечая уже за каждый грамм, отделывает свои сокровища.

Раньше они работали с отцом. Так их и знали — пантовары Барышевы. Но умер отец в позапрошлом году. У него был рак. Из больницы домой отпустили помирать. Но до последних дней даже на охоту ходил, таежник был, ходил, мучаясь болью, и дома ни разу не слышали от него стона. Только очень легкий стал. Однажды лег, а подняться не смог. Сергей взялся его перенести, поднял, натужившись, помня былой вес, а тот вдруг взлетел в руках пушинкою, килограммов сорок в нем оказалось. Тут Сергей и поверил, что больше не встанет отец. Он и не встал.

Хоронили — весь совхоз вышел провожать. Работу побросали. Был Барышев Владимир Николаевич местной знаменитостью.

А теперь знаменитость — его сын Сергей. Официально признан лучшим молодым пантоваром Приморья. Вообще-то пантоваров здесь не густо. В двенадцати звероводческих совхозах по пантовару, считайте. А молодых еще меньше. Но все равно Сергею приятно, что среди равных он — наипервейший.

Чего, будучи мальчишкой, вовсе не обещал. Жизнь и судьба складываются, как правило, в соответствии с общепринятой символикой, например, учится пацан хорошо — вырастет человеком. Сергей дальше шестого класса не пошел. «Меня отец в детстве за двойки лупил портупеей. Я сидеть не мог. Вот, чтоб поменьше досталось, домой прибегу, скотину напою-накормлю, все разберу, уложу, вычищу, еду сварю. Он придет — все в хозяйстве сделано, а кто сделал? Серега. И только рукой махнет».

Насчет приготовления еды — точно, это у него классно выходит, сам пробовал. Еще бы, с детства готовил. Мать в больнице два месяца как-то лежала, он был за хозяйку и всю семью кормил, а одних детей — пять ртов, ели и похваливали. Он и плотничать начал самоукой, да так, что, если, бывало, стропила у кого не встают, наверх его посылали. И влезет, карандашом начертит — мигом все встает на положенные места. Он и косил «с пеленок». По восемь стогов ставили в день, и каких стогов! Директор совхоза до сих пор вспоминает: «Вот когда Барышев-малой был бригадиром — работали! Ни один стог ни ветром не разметало, дождем не промочило. Давай, Серега, обратно на покос!»

Он всю жизнь — руками работник. У него ум — в руках. Так бывает. Руки умные. А отец все же был лучше его пантовар. Когда помирал, Сергей как раз взялся сварить лобовой пант, на базе получили экспортный заказ. Лобовой пант — рога вместе с лобной костью, сейчас его делают редко, по сути, никто толком не умеет. Тут свои тонкости. Но Барышев был в себе уверен: сварю! А не выходило.

Отец пластом лежал, на окружающее не откликался, а заметил, спрашивает: «Серега, ты чего?» Тот пожаловался. Как ни плох был отец, засмеялся даже, поманил Сергея пальцем и важно так: «Скажу тебе перед смертью секрет». Впервые сам о смерти заговорил. И объяснил, в чем хитрость, там одну косточку незаметно надо вытащить, в жизни не поверишь, что она причиной. Сергей кинулся, стамеской ковырнул, где отец сказал, и выскочила косточка, как пружинка — все!

Вот какой был отец пантовар! Именно его варения панты посланы были Приморьем на ВДНХ. Был Сергей однажды в Москве проездом, пошел на выставку отцовы панты смотреть. Долго ходил в павильоне, но где там панты — не нашел. А спросить постеснялся.

Утром он меня разбудил. Принес сварившийся пант. Сунул под нос и сказал с вечной своей ухмылкой двоечника и хулигана: «Видишь, коричневый, в дырках на срезе, и пахнуть должен как хлеб». Я понюхал, пахло свежевыпеченным хлебом, срез был ноздреват и вкусен. Не зря ночевали.

День второй

Живут мои герои в поселке Веселый Яр. А Веселый Яр — на краю земли. Земля здесь грудью налегла на океан, согнутыми в локтях руками охватила залив. Лишь на горизонте не сходятся руки, там, через ворота, вода уходит в беспредельность.

В давние времена был в заливе Святого Владимира пушнинный стан, в зиму наезжали со всего света купцы, из тайги выходили ловцы добыч, начинался торг. На льду залива, на роскошных пляжах составлялись и рушились состояния, кровь лилась, и шла гульба. Веселый Яр.

Сейчас пляжи пустынны, курортники о них не ведают, а редким местным жителям не до валянья на песочке. Прозрачная вода полна рыбы, пацаны таскают ее

закидушками. Здоровенных камбал, что съели мы утром с зоотехником Михайловым, вытащил за полчаса до жарения его мальчишка Андрей.

От райцентра Ольга до Веселого Яра 40 километров, но преодолеть можно их не всегда. Ненастье отрезает поселок надолго. По улицам его бегают похожие на волков собаки, происходящие от служебных пограничных, с овчарками же ходят здешние охотники на кабана и медведя. И у Михайлова красоты неописанной годовалый щенок, помесь то ли с колли, то ли с ездовой лайкой. Огромный, ласковый, еще глупый.

День был воскресный, и Михайлову полагалось сидеть над рабочим дневником, приводя в порядок наблюдения за неделю. Но он усадил меня за спину — на мотоцикл и, прыгая на корнях, ухая в лужи, покатил через перевал в бухту по ту сторону левой гряды залива. К океану.

Уходящий далеко к пещерам и скалам заброшенный пляж с обкатанными морем добела костями коряг. Черные ломти бархатного дерева. Раковины, морские звезды, ежи. Нетронутый песок, по которому шли мы босиком, его нарушая, увязавшийся за нами лохматый пес Михайлова, взрывающий цепочку наших следов. Нерпы с дальних камней, подняв свои головы-булыжники, следили за нашим продвижением. Ощущение края земли, входящее в грудь остро, как кислород.

Мы валялись на песочке, океан катил пенистые гребни и, как знамена, возносил их над грядою камней, овевая черные головы нерп. Заканчивалась моя длинная командировка по Дальнему Востоку. Михайлов был доволен, что доставил мне счастье и что сам оказался вырван из круга непрерывных занятий. Здесь было его любимое место, он сюда приезжает один. Но редко.

Я наблюдал за ним. Меня беспокоила осязаемая кожей тревожная энергия, исходившая от него, даже спокойно лежащего. В нем все время совершалась внутренняя работа. И это делало его незащищенным. Он

раним, догадался я, этот человек, стреляющий из карабина, как Кожаный Чулок.

В нем два человека: полновластный хозяин оленника и провинциальный интеллигент, из тех, не потомственных, а в первом колене, что не семейные впитали традиции, но саму идею и назначение интеллигентского бытия. Они несут в себе тот сплав неистребимого интереса к устройству окружающего мира и подвижнической самоотреченности познания, который позволяет им, очутившись и в самом заброшенном и богом забытом месте, — жить полно, да еще и подкармливать своими неустанно собираемыми познаниями и практику дела, и науку о нем.

Как он получился, Геннадий Евгеньевич Михайлов? Он из блокадных ленинградских пацанов. В пять лет — рахит первой степени, кривые ноги, огромный живот, ноги потом отказали. Помнит вкус блокадного хлеба, каждая крошка не съедалась — всасывалась. «На улицах люди падали и умирали. Спросишь мать: чего это он там лежит? Она быстренько так отвечает: пойдем-пойдем, он там загорает».

Коммунальная квартира на тринадцать семей. Болезненная страсть пацана к животным. «Я заведу собачку, — мать ее уведет потихоньку, говорит, пропала. Я снова заведу, мать уведет, не ругалась, только иногда плакала». В семье еще две сестрички, надо зарабатывать. Отец привел на завод к своему приятелю, токарю. Сам отец знаменит, слесарь высшей квалификации, из питерских умельцев, чьи имена знал весь город. Но определил сыну токарное дело как призвание и назначение. Тот послушно учится, в техникум поступает. Выполняет свой долг. Такой ему кажется вся жизнь взрослых — безрадостное выполнение долга.

Жест отчаянный, все бросил, наобум поступил на юридический, но на вечерний, чтобы по-прежнему не быть в тягость семье. Гнев отца. Собственная, никуда не ушедшая тоска от незнания правильного пути. Армия.

Она сняла с его души тяжесть, отпала необходимость решать что-то за себя и самому. Состояние почти счастливое. Но — почти.

Уже в конце службы, в казарме, на чьей-то койке увидел «Огонек», взял полистать, открыл, со страницы прямо на него взглянули те самые изумленные оленьи глаза. Никто никогда в жизни так на него не смотрел. Рядом статья об оленеводе Рященко. Руки у Михайлова тряслись, когда он писал письмо Леониду Петровичу Рященко: «Возьмите меня к себе рабочим».

Тот откликнулся: «Приезжайте, поступайте здесь в институт, я в нем преподаю. И заходите». Михайлов засобирался. Что такое Дальний Восток? Взял в библиотеке Арсеньева, прочитал безотрывно, послал документы в Уссурийск, в сельхозинститут.

Приехав, решил, что к Рященко не пойдет, если не поступит. Сдавал с трудом. Несколько раз собирался домой, но ему одна женщина постоянно на пути попадалась: ну, как дела, солдат? Он рукой махнет: трояк! Она: не отчаивайся, сдавай дальше, не бросай. На этом ее сочувствии продержался. И наконец пришел к Рященко, а дверь ему открыла эта женщина, она была женой Леонида Петровича. Вот как! До сих пор они с Михайловым смеются, вспоминая, как познакомились досрочно. До сих пор, потому что позже был Михайлов принят в семью Рященко, как сын, и Леонида Петровича зовет отцом.

Так он и попал к Учителю: «Моя рука в его лапе утонула. Накормил он меня, потом стал расспрашивать, я ему о себе рассказал все». Это таежная традиция — прежде разговора накормить гостя, тогда возникает доверие. Первый урок в долгом ученье дал ему Рященко, как видим, с порога.

Второй урок получил Михайлов позднее, но урок этот лег краеугольно в фундамент нынешнего его поведения. То, что выглядит легко, победно и зовуще где-нибудь в газетном сообщении, в жизни чаще всего достигается

преодолением и себя, и тысячи препон, дается потом, бессонницей, черной работой, поедающей человека. Но и полное самоотречение не гарантирует успеха. А делать надо все равно. Слушая собственную совесть. Из черной работы состоит правильная жизнь. Вот в каком повороте выступила перед Михайловым, еще в ленинградской жизни обозначившаяся, отцова идея о выполнении долга, только там выглядела она безрадостно, потому что сердце его на нее не отзывалось. А здесь отозвалось.

Среди множества идей была у Рященко идея фикс — выращивать собак колли для пастьбы оленей. Рященко пришло в голову, что оленей надо именно пасти, олень — гурман, ест не всякую траву, тратит полжизни на поиски нужных, а в парках ему предлагают лишь то, что нашлось у содержателей. Слабеет вид, пропадает сила пантов. А пасти в тайге оленя без собак немыслимо. Но собаки годны не всякие, нужны колли, поскольку изо всех пастушьих — не злобны, не рвут охраняемых зверей.

Как часто и случается с новыми идеями, да еще требующими затрат, никого, кроме родителя, они не греют. Питомник Рященко основал, но даже на корм собакам не было денег. Михайлов «проникся» сразу, на лету. Детская страсть его проклюнулась. Забилось ретивое. Он сам напросился к собакам. И, как был, в солдатской форме, отправился по городским столовым выпрашивать для них еду. Жалели «солдатика», давали ему отбросы. И так одну из существеннейших проблем, стоявших перед питомником, он вдруг решил. И Рященко в него поверил. Их стало двое. Всю зиму питал Михайлов своих подопечных, а летом отправился с ними в совхоз «Ма йхэ», где у Рященко был опорный научный пункт, к оленям. Там наступило счастье, там стало понятно, как дальше жить. Избушка у него была, собаки, олени.

Но эксперимент закончился, на дальнейшее средств таки не нашлось. Нашлись доводы: за решеткой олени в большей сохранности. Ухудшается вид? Но не исчезает же! Панты теряют силу? Но раскупаются же!

Умер Леонид Петрович Рященко, названный после смерти основоположником научного подхода в отечественном оленеводстве. Михайлов ученым не стал. В меру сил своих продолжает дело учителя на земле. Ведет ежедневные дневниковые записи — о случившемся на оленнике, погоде, поведении зверей. Сидит допоздна, сводя в систему хаос увиденного, услышанного, прочитанного, предполагаемого, исписывая листок за листком, строя по кирпичику здание своего опыта. Ведет переписку со специалистами. Пишет цикл статей об истории оленеводства. У него большая библиотека, но читает он, особенно в последнее время, лишь для «встряски», чтобы усталость оставила душу, а злость охватила и руки зачесались делать дальше.

Возвращались мы вечером, нас вышли встречать жена Михайлова Оля и шестилетняя дочка Варя, рыженькая, коса ниже пояса. Они по отцу соскучились. Ждали, ждали и пошли навстречу. Женщины. Пятнадцатилетнему Андрею соскучиваться было некогда, он — мужчина и отлаживал в сарае собранный из старья мотоцикл.

С нами покланялись сидевшие на лавке мужики, позвали смотреть кино. Там оказалась площадка, с одного края — будочка с проекционным аппаратом, с другого — экран на столбах. Зрители собирались, спрашивали у хозяина, что будет крутить. У площадки оказался хозяин, владелец кинопроектора, экрана, будочки, сам утрамбовавший площадку и врывший скамейки на ней. Фильмы берет у пограничников и крутит безвозмездно всем желающим, лишь бы собрались и изъявили охоту. Веселый Яр.

Ночь последняя

Ночь я провел в маленьком кабинетике Михайлова, обложенный ворохами бумаг, которые он мне подбрасывал и подбрасывал. Удивительные, надо сказать, выплывали из ворохов этих вещи. Вот одна.

Жил на Дальнем Востоке легендарный звериный врач, приморский Айболит — Исаак Иванович Миролюбов. Появился еще в дореволюционные годы. А легенды складывались о его великой честности, бессребрености, преданности научным занятиям. Он лечил зверье, а по ходу жизни, как делал бы всякий интеллигентный человек, собирал разные сведения и наблюдения. Среди них и о пантовом оленеводстве. Когда оленеводство принялись в Приморье возрождать, обнаружилось, что содержатели частных стад унесли с собой в могилу или за границу секреты содержания и кормления оленей. Перед создателями оленеводства лежал чистый лист.

Но все нужное уже знал Миролюбов. И не просто знал, а обобщил, сформулировал и изложил с педантичностью и дотошностью прирожденного естествоиспытателя. Пятнадцать школьных тетрадок, исписанных каллиграфическим его почерком, содержали уйму сведений об особенностях развития пантового оленя, местах его обитания, кормления, болезнях, привычках, способах и методах «домашнего» содержания. Все, что нужно было знать для начала, было в этих тетрадях. Так волею судеб оказался Миролюбов у истоков приморского оленеводства.

Весь архив свой Миролюбов завещал ученику. А учеником его был Леонид Петрович Рященко. Как попали тетради в руки Михайлова, уже ясно. Так, как и передается из века опыт подвижников. По цепочке. Из рук в руки, от учителя к ученику.

Вот они, эти пожелтевшие тетрадки, когда-то бесценные, я трогаю их, переворачиваю хрупкие листы.

Я — о наследовании не идей даже, но самого духа подвижничества. Эти пятнадцать тетрадок, написанных на всякий случай, с надписью на первой странице первой тетрадки тем же каллиграфическим почерком: «Может быть, зачем-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь, комунибудь и понадобится. Пожалуйста, пользуйтесь» — о большем не заботился автор, как отсвет жизни, в которой

Миролюбов оценивал все делаемое им не как ученые труды, но лишь как вклад посильный в копилку человеческих знаний. Всю жизнь неустанно вкладывал он в нее свои малые взносы. В меру сил стараясь сделать что-то для гибнущего и вымирающего зверья. Он был одним из первых экологов, хотя в те времена такого названия не было. И фамилия его символична. Он хотел между человеком и зверем мира.

Я заснул, не дочитав всего. Но смутен был сон, в нем наплывали сюжеты, родившиеся здесь, на краю. Те, что лишь бегло отметил я, и те, что узнать не успел, они уходили во тьму, никому не доставшись. Человек, показывающий бесплатное кино. И девочка Варя с рыжей косой, взявшая за руку отца, блокадного пацана, наследовавшего тяжкий труд познания и преданность черной работе. Огромные люди-пантовары, передающие на смертном одре друг другу секреты своего древнего дела. Косые глаза Фуласана и кровь на пантовом срезе. Ненаписанная история рукописи Миролюбова, книги в одном экземпляре, адресованной в «когда-нибудь» и «кому-нибудь». Край земли, где, как в фокусе, сошлись судьбы, люди, олени. И океан, вплывающий в залив, чтобы коснуться их, вплывающий, как сама вечность.

* * *

Но вынырнем из эпического настроя. И увидим, что человек, связанный с природой, уже не одинок. Она — его «близкие люди». Она ему — во спасение. И в устойчивость. «Чтобы стоять, я должен держаться корней!»

И вспоминаю письмо одного парня: «В школе нам говорили, что наша родина — Советский Союз, и я с этим согласен. Может и должен человек тосковать по дому, который построил еще дед, по какому-нибудь дереву, возле которого играл, по речке, где купался с мальчишками. Но я—родился на одной стройке, а рос на другой, учился на третьей, работать начал на четвертой. Го-

рода, где я жил, похожи, поэтому меня никогда не тянуло в них вернуться. Зачем? В другом городе найду то же самое, что и в оставшихся позади. И мне всегда жалко было людей, которые сидят на одном месте. Они — рабы привычки или послушания. Они роются в собственной грязи, не поднимая глаз, а ведь вокруг — свобода. Но они о ней и не слышали. Они ее боятся. Им проще прожить рабами. И никогда не будет в стране никакой перестройки, пока в человеке не переменится сознание, пока не ощутит человек себя свободным, не оторвется от так называемых «корней». Это люди ограниченного сознания, обыватели, трусы, они боятся потерять то, что имеют, вот с ними и делают, что хотят, любые начальники, а им даже и в голову не приходит простая мысль: ведь имеют они так мало, что держаться за это может только слабоумный.

Что же удерживает человека на месте? Может, действительно ограниченность? Она мешает ему вобрать в себя мир, его богатства? А может ли вырасти человек в творческую личность, сидя сиднем? Круг его интересов не становится ли узок, мелок, будничен? Не превращается ли он в обывателя — неизбежно?

Нет однозначных ответов. Есть человек, о котором могу рассказать для того, чтобы попробовать извлечь из его судьбы еще один урок.

ТРЕТЬЯ СТРУНА СЕТАРА

Жил Атоулло Убайдуллаев. Он жил в таджикском кишлаке Қалъа-Азим, что возле городка Ганчи, где растет старинный сорт винограда, слаще которого нет на земле, ганчинский кишмиш и вино — знамениты на весь свет. Қала-Азим означает — Большая крепость. Но крепости никакой в кишлаке уже не было. Осталось от былых времен высохшее русло реки — сай, где вода появлялась только весною, тогда она набрасывалась на вы-

сокие берега и вымывала из дальнего берега белые кости и черные узорчатые кувшины. Там когда-то жили и умерли древние люди, и жизнь их занесло песком и глиной. Кувшины их были красивые и прочные, ничего подобного в округе не делали, поэтому во многих домах заводили кувшин, взятый из сая.

Был у Атоулло свой дом. Единственный в кишлаке дом, чьи глиняные стены были не черными, как у всех, а белыми. Это придумала жена Атоулло, она стены и белила. Был у Атоулло большой сад, в котором вырастал невиданный даже для ганчинских земель виноград, потому что в руках Атоулло была удивительная сила, передававшая винограду, яблоням, грушам и цветам такие свойства, что вырастали они на зависть всем соседям.

Росли у Атоулло два сына и три дочери. «Все у меня есть, — говорил Атоулло, — и детей ровно столько, сколько надо человеку. Два сына, как две руки — правая и левая. Мужчины. Основа всему дому. Женщины — украшение дома. Радость жизни. Три мои дочки — как три струны сетара». Три струны древнего таджикского инструмента. Атоулло Убайдуллаев был счастливый человек.

Он много работал в своей жизни, воевал, вернулся домой израненным, одна нога так и не стала его слушаться. Но никто не мог сказать о нем: «Хромой Атоулло», — потому что, когда ходил, никогда на больную ногу не прихрамывал, шел, как на здоровой. А ходить ему приходилось немало и далеко. Ежедневно он отправлялся утром в районный центр Ганчи, где была средняя школа, в которой он преподавал математику и физику, вечером шел обратно. Задерживался, потому что вечно ему приходилось быть ходатаем за односельчан в районе. Он был и достопримечательностью и гордостью кишлака не только потому, что имел диплом о высшем образовании, дом с белыми стенами и выращивал самый лучший виноград, а потому еще, что был человеком невиданного

правдолюбия. До сих пор рассказывают в Кала-Азим, как вступался он за справедливость, помогал обиженным, рискуя сам пострадать. Он был ходатаем по природе своей. И здесь начинается поучительная, но, к сожалению, совсем другая история. Нам важно сейчас только отметить, что Атоулло Убайдуллаев был честный человек.

Каждый вечер, вернувшись из города, где он учил, отстаивал, ходатайствовал, он опускал онемевшую больную ногу в тазик с соленой водой и приходил в себя. Таким дети его и запомнили. Вечер, отец сидит, окуная распухшую ногу в воду. Он не стонет, он просто не может в это время разговаривать. Он с болью один на один. Атоулло Убайдуллаев был мужественный человек.

И детям он заповедал одно: никогда и никого нельзя обманывать. Никогда нельзя говорить неправду. И они росли похожими на него, и всем им в жизни пришлось от этого нелегко.

Умер Атоулло неожиданно, ему было 57 лет. «Я думаю, — сказала мне сейчас младшая его дочь Зулфия,— это война виновата. И мама так сказала: это война проклятая».

Умер Атоулло Убайдуллаев. Он был хороший человек. Остались на земле его дом с белыми стенами, его сад, женщина, которую он любил и которая родила ему пятерых детей. Остались дети, не просто наследники. В своих детях остался на земле Атоулло.

Старший сын его Абдувалли в 23 года стал директором фабрики. Сейчас, в 33 года, он — генеральный директор объединения кожевенно-обувных предприятий в Душанбе. Здесь тоже целая история для отдельного очерка. Очерка о его неожиданном для всех назначении, о его взлете и удивительной смелости поступков и принятых на руководящем посту решений. Об отношении к нему работников фабрики, которые в свое время коллективом потребовали, чтобы именно этот молодой парень возгла-

вил дело. О том, как вывел он годами отстававшую фабрику в передовые. О том, как возрождал на ней человеческие отношения и боролся в инстанциях на самых разных уровнях, рискуя в любой момент потерять все завоеванное, с протекционизмом, косностью, приписками.

Младший сын Алишер — учитель, как и отец. Школа — его сад. А еще он пишет стихи. Старшая дочь Халима — врач, первая в районе девушка, получившая медицинское образование. Вторая — Хабиба, первая в районе девушка, окончившая политехнический институт, получившая мужскую профессию, она — инженер-строитель. И тоже пишет стихи. Смелость поступков (первыми быть всегда нелегко), и трезвость математического ума отца, и неравнодушие его сердца — все они наследовали. И душу его, садовника и поэта (хоть сам он стихов не писал). Душу Атоулло наиболее полно повторила младшая дочь — Зулфия. Стихи — это и профессия ее, и жизнь, и все существо. Зулфия — третья струна древнего музыкального инструмента сетара.

Три струны сетара были тремя песнями.
Праздник нашего детства прошел среди гор.
Бабушка рассказывала легенды и предания.
Кишлак был нашим миром.
Косички-ручейки стекали по нашим плечам.
Детство, как жемчуг, рассыпалось среди трав.
Куда оно ушло?

* * *

Толчок к поэзии в Зулфие — не та ли отцовская необычность жизни, поступков, суждений, некий романтический ореол, выделявший его среди односельчан? И сад его, который был не просто хозяйством, но местом, где отец священнодействовал, прививая лучшее — к худшему, чтобы исправить его, защищая доброе — от нена-

сытного, на нем паразитирующего злого, так же, как делал это и в жизни своей, но если его поступки за пределами дома детям часто оставались неведомы, то сад был ведом. Ведомо правильное поведение в саду. Родство сада — людской жизни. Не потому ли и первые строчки, которые появились на бумаге у Зулфии в первые же дни после смерти отца, были:

Я и саженцы, которые еще зелены,
Пили из одного родника,
Отец кровью сердца нас вырастил.
Я и эти деревья — сестры...

И через несколько дней:

Отец, для тебя этот мир был как огромный цветник.
Сам того не зная, однажды с семенами цветов
Ты рассыпал в моем сердце семена поэзии.
Отец, подношу к глазам землю из твоей могилы,
Твое мужественное сердце осталось во мне.

И через два года:

Подошло время, чтобы я стала и своим мечом, и своим щитом.
В дороге жизни я должна стать своим попутчиком.
Увы, мой отец навсегда покинул меня.
Настало время мне стать своим отцом.

А это уже жизненная программа. Осознание в себе того гражданского начала, которое нес отец, и наследование его.

И тем не менее все это лишь толчок. Сильный, но проявивший и в чем-то формировавший уже зародившийся дар. Что же такое та почва, которая дала ему жизнь?

Очень непросто назревает поэт на земле. Его дар рождается не сразу, не сам по себе и не на пустом месте. И может быть, проследив, как проявляется он в мире и среди нас, мы что-то важное узнаем и о времени, в котором живем, и о себе.

* * *

Дед Зулфии был грамотным человеком. А это для таджикской деревни времен начала века — почти событие. По переписи 1897 года грамотность населения в Таджикистане составляла 2,3 процента, а в сельской местности — 1,8 процента. Так что дед Зулфии был явление редкое. Однако дед не просто умел читать, он был ко всему еще завзятый книгочей и детей своих пытался сделать такими же. Но вряд ли бы дети пошли дальше его, если бы не возможность получить образование, а тут уже прямая заслуга государства, эту возможность им давшего. Так что отец Зулфии, имевший лишь стимул к овладению культурой, его уже смог реализовать. И жена его получила образование, она и работала сельским экономистом. Они были единственной в кишлаке интеллигентной семьей. Отец страстно любил книги, и дети эту его страсть переняли полностью. Естественно, все они были отличниками в школе, естественно, они первыми, даже не в кишлаке — в районе, овладевали новыми для местной молодежи профессиями. Безбоязненно отправлялись в город. И так далее. Не так ли вышли, каждый из своего кишлака, многие деятели таджикской культуры?

Все старики кишлака, не умея читать, знали уйму стихов тех самых поэтов-классиков, которых сейчас преподают в школах и вузах, но знали, боюсь, гораздо лучше и больше, нежели многие нынешние люди с высшим образованием. Они знали наизусть Гафиза и Саади, Хайяма и Джами. Про Рудаки я уж не говорю. Их беседы текли, как какой-нибудь поэтический диспут. Нет, они не зачитывали друг другу глав из поэм, демонстрируя красоты стиля и изысканность формы. Они просто болтали, обсуждали новости, перемывали кому-то косточки, но пользовались для этого стихами. Стихи были их пословицами и поговорками, их афоризмами, они были аргументами в споре, к их утверждениям обраща-

лись как к истине в последней инстанции. Мудрость сказавшего строку поэта не подвергалась сомнению. Здесь надо знать об особой роли поэтов на этой земле. Тут поэты считались пророками. Такими, как у Пушкина. И сказанное ими с веками становилось уже не эстетикой, но самой этикой. Вот почему не Зулфия только, но все дети, каждый в свое время, пробовали говорить или писать стихами. Не важно, получалось ли у них хуже или лучше. Важно, что стихотворная речь была привычной им тканью родного языка. Она была у них в крови. Речь шла лишь о большей или меньшей одаренности. Здесь первенствовала Зулфия. Здесь ее рука выводила на бумаге самые точные и емкие слова. Недавно она написала об этой способности своей руки:

Вы — моя всемогущая рука,
Мои предки.
В каждую строчку,
В сердце дочери
Память о вас я буду вселять,
Мои предки.

* * *

Зулфия — негромкий поэт. У нее и не получится громко. Она так это объяснила однажды:

В моем кишлаке не было бурной реки,
Поэтому я не научилась плавать.
И от высоты у меня не кружилась голова:
Горы у нас невысокие.
Я не умею скакать верхом.
У нас не было скакунов.
Мой кишлак, как старец, испытавший все,
Научил меня только скромности.

Что же главное в скромной ее поэзии? Удивительный мир родины. Она — поэт, рассказывающий даже не о всей земле, а о маленьком пятачке ее, но этого пятачка оказывается ей довольно, чтобы сказать о самых важных для человека вещах: о том, ради чего и как жить,

о прошлом и будущем, о доброте и злобе, страданиях и любви, о войне и мире, наконец. Ее лирика — та беспафосная и откровенная простота, которая действует сильнее любых восклицаний. Ее патриотизм — воспитывающ.

Қала-Азим — Большая крепость, маленький кишлак оказался кладезем тем, образов для начинающей поэтессы. Пять лет Зулфия проучилась в Москве, окончила Литературный институт, хорошо училась и хорошо закончила, у нее стало много знакомых в Москве, это не только поэты-переводчики, познакомившие с ней русского читателя, просто друзья. Она жадно наполняла себя знаниями, впитывала их, как песок — воду, знала, что знания ей необходимы. Она училась у мастеров русской поэзии, полюбила Лермонтова. Полюбила Ахматову, Ахмадуллину, Окуджаву. Она близко узнала и мировую поэзию, хотя восточные поэты в списке ею любимых преобладают. Москва не просто расширила ее кругозор, она смогла и на себя взглянуть со стороны, примерить к себе иные мерки. Однако, вернувшись на родину, Зулфия не изменила себе. Она осталась поэтом родных мест, если можно так сказать. Но стихи ее стали иными. Она стала видеть самое детство свое и кишлак свой по-другому, хоть и не изменились истоки ее поэзии. Она смотрела на свой кишлак, который всегда был для нее только чистой радостью, и вдруг заметила:

Два мира в моем кишлаке.
Один — мир живых, а за арыком — мир мертвых.
Журчащая песня арыка живым приносит радость,
Мертвым несет покой и глубокий сон.

— В детстве, — сказала мне Зулфия, — преобладают прямые ощущения, не опосредованные. Мир впитываешь, как он есть и как бы самой кожей. Он — чистое наслаждение. Вот, например, по соседству с нами жила семья пастухов. Вечером лежишь во дворе,

смотришь в небо, там огромные звезды, а кто-то из пастухов обязательно играет на свирели. И вот звезды и эта свирель — най, тонкий ее голос, сплетаются во что-то единое. А утром...

По утрам от петушиного крика
Просыпается мой кишлак,
И горы наполняются запахом парного молока.
С кувшином на плече
Плавно спускается к роднику девушка,
И навстречу ей улыбается солнце.
Поймешь ли ты красоту моего кишлака,
Ведь у тебя в груди не мое сердце?

— В детстве я была смешным ребенком, я все время разговаривала сама с собой. Хожу и руками размахиваю, к кому-то обращаюсь. Мне все время представлялось, как я выросту и окажусь среди множества людей, чтобы им рассказать, как я ощущаю мир, и вот я будто бы уже выросла и говорю. Так, кстати, и произошло. Когда я заговорила стихами, я выговаривала именно то, что собиралась, будучи совсем маленькой. Но теперь... О чем я рассказываю теперь, став взрослой? Например, о маме, о ее сказках, которые нам, детям, доводилось слушать, когда мы болели; чудесные сказки, она сама их выдумывала. Часами рассказывала, увлекалась. Я в детстве часто болела, мне и досталось больше всех. Раньше я только об этом и написала бы стихи. Тем более что я верила каждому ее слову, верила, что это случалось на самом деле с ней или с отцом, как он пытался перехитрить нечистую силу и вот почти уже перехитрил, но... И тут мама начинала плакать. Об этом я раньше бы не написала. А теперь именно это для меня главное. Она гордилась отцом, она его любила, она переживала за него. И вот я уже пишу:

Не осуждай женщину за то, что она часто плачет.
Если бы она своими слезами не смывала с одежд мира
Кровавые пятна войны,
Они до сих пор оставались бы красными от пролитой крови.

* * *

— А в семье пастухов была слепая старуха, и мы к ней часто днем, когда все были в поле, приходили, она нам радовалась и много рассказывала страшных, смешных и удивительных сказок и историй, пела нам песни. И тоже знала много стихов. Но вот что меня поражало. Она была слепая, но проницательная до невероятия. Она будто видела и нас, и все вокруг, и всегда знала, кто именно к ней пришел, и даже знала — зачем, по делу или за сказкой, поболтать. Я ее слепой никогда не считала, обращалась как со зрячей, даже говорила: посмотрите! И она вправду смотрела и соглашалась со мной или не соглашалась, красиво это или нет. Она знала о людях все, она предчувствовала их поступки и разгадывала намерения. Она была мудрая и вещая старуха. Именно ее молитву я однажды подслушала, вот какая это была странная молитва:

О, солнце! Под твоими лучами
Сохнут реки и замолкают волны.
Но почему же до сих пор текут человеческие слезы?

Вот что извлекает Зулфия сейчас, став взрослой, из детских воспоминаний. И даже описывая само восприятие жизни ребенком, она акцент делает не на том наслаждении бытием, которое сама же и отмечала как определяющую детскую черту, а на предчувствии зрелости, подспудном желании стать взрослой, а значит, тоньше, умнее, лучше:

Для меня каждый новый день — праздник.
Потому что он ведет меня к зрелости.
Я стану лучше.

— Я не считаю, что скажу новое слово в поэзии. Я — не Пророк. Пока я — певец своего детства и своего кишлака. Не знаю, что будет со мной далее, пока,

мне кажется, нужно, чтобы у каждого клочка земли нашелся свой певец и свой охранитель, тогда, может быть, мы сбережем и всю нашу землю.

Семь каменных девушек на окраине моего кишлака
Много веков стоят в дозоре.
О, мать-природа!
Когда я умру,
Преврати мое тело в восьмой камень,
Чтобы и я осталась навсегда в этом дозоре.

Зулфия категорична в определении своих творческих задач. Ничего страшного. Она совсем молода. Среди 122 писателей республики — 20 молодых, Зулфия — самая из них юная. У нее впереди все. Она начала меняться, хотя и то, что пишет сейчас и что написала, уже оценено высоко. Она пока еще только обещает. Главного она не сделала.

* * *

Ее стихи впервые были напечатаны, когда ей исполнилось 14 лет. Печатать ее сразу стали много и часто. И в республиканских изданиях, и в районной газете.

Его звали Обид Осими, первого ее учителя в поэзии. Именно в районной газете он и работал. Он писал стихи и печатал их под псевдонимом Хайрон. Поэт Хайрон. Таким она его знала, стихи его читала, они ей нравились, но никогда с ним не встречалась. Когда они встретились, он произвел на нее сильнейшее впечатление. У него были, оказывается, больные ноги, и он передвигался на костылях. Легкое угловатое тело, висящее между костылями, и огромные больные глаза на лице, освещенном прекрасной улыбкой. Ей показалось даже, будто через глаза его смотрел на мир еще один человек, сильный, спокойный, немножко насмешливый. Зулфия сильно ошибалась, полагая, что сила эта и внутренний свет, так ясно видимые ею, — столь же очевидны окружающим. Очень скоро она заметила, что он одинок сре-

ди людей. И она увидела, как он страдает от этого. Живет в глуши, пишет прекрасные стихи, она-то не сомневалась, что стихи его прекрасны, но его никто не признает. Позже она начала понимать, что перед ней человек, дар которого не сумел набрать всей силы, а он уже где-то однажды сдался, согласился с выставленными ему оценками, хотя оценивали его люди, далекие от поэзии. Она поняла, что жизнь его победила, хоть и осталось в нем великолепное чутье на настоящую поэзию. Этой настоящей поэзии он ее и учил. Учил видеть и понимать.

Он поправлял стихи Зулфии, некоторые хвалил. Он вообще никогда не ругал стихи, о плохих просто молчал. И это справедливо: что скажешь о словах, которые — не стихи? Зулфия была его единственной ученицей. Она сама его выбрала в учителя. Он и напечатал ее многие первые стихи. Он объяснил ей — в чем ее своеобразие, непохожесть, то главное, что и должен сохранять в себе поэт. Он первый сказал ей, что ее поэзия не просто камерна, она — чисто женская. Она не знала тогда, что этого надо стесняться, даже скрывать, потому что принято быть мужественным и немногословным по-мужски. Она этого не знала и весь мир видела так, как увидеть его может только женщина. «Этого почти никто сейчас не умеет», — говорил ей Хайрон. А она об этом в себе не знала. Она писала:

Мороз цветами разрисовал мое окно,
Неужели и он в меня влюблен?

Этого никто, кроме девочки, не подумает. Хайрон открыл ей глаза на себя самое. За то она ему вечно благодарна.

Вскоре Зулфия, еще школьница, была приглашена участвовать в съезде писателей республики, потом она поступила в университет на филологический факультет, потом в Литературный институт.

* * *

Она встает рано утром, убирается, готовит еду, провожает мужа на работу, дочку отводит в садик и все это время читает стихи. Про себя или вслух. Свои, чужие, по настроению. Это ее физзарядка, утренняя гимнастика мозга и души. Ее настрой на день. Если наборматывает свои стихи, то наверняка недописанные, снившиеся ночью, бывает, и ночью приснится удачное четверостишие. Утреннее проговаривание недописанного — как пробивание тоннеля в горе, строчка бьется, бьется о неподдающийся материал и вдруг, как родник, пробивает себе дорогу и ложится в стихотворение на свое место.

Потом она идет на работу. Она работает в газете «Советский Таджикистан», там она в основном читает стихи, присланные другими, читает принесенное людьми прежде ей незнакомыми и знакомыми давно, многие авторы — ее друзья, некоторые — ученики, в основном это начинающие поэты — студенты, и она старается говорить с ними так и о том, о чем и как говорил с ней, маленькой школьницей, Обид Осими. Так она расплачивается с ним сейчас.

Но вот она надрывает очередной конверт и достает письмо, с которым не знает что делать. Потому что в этом случае ей предстоит поступить не как литконсультанту, а как поэту, к мудрости которого и апеллирует ситуация.

Письмо неграмотно, от женщины пятидесяти с лишним лет, — слова сливаются, никаких знаков препинания, слова написаны, как слышатся, так пишут письма деревенские старухи. Но в письме стихи. Первые и единственные в жизни этой женщины.

Дело в том, что у нее умер сын, ему было всего двадцать лет. Сын единственный, умер нелепо и трагически. Что ей теперь делать в жизни, женщина не знала, поэтому она сделала такой же нелепый с точки зрения

свалившейся на нее беды поступок — написала стихи. Зачем, почему? Потому что ей необходимо было совершить в эти дни что-то для себя невероятное. И она совершила. Она выплакалась. Создание стихов часто во спасение человеку. Это понятно Зулфие. Так однажды и она пережила свою любовь, когда от нее отвернулись:

Когда весною вернутся журавли,
Журавль моей любви не вернется.
Моя любовь превратилась в стихотворение.

Есть версия, что и первое в мире стихотворение появилось (а оно, как считают таджики, естественно, появилось на их земле) после подобного же потрясения, есть такая легенда. Один человек влюбился столь отчаянно и безнадежно, что, обращаясь к любимой и не зная, чем убедить ее, вдруг заговорил стихами.

Пожилая полуграмотная мать, заговорившая стихами, не собиралась становиться поэтессой. Ей просто пришло в голову, раз уж такое с ней случилось, чтобы стихотворение попало в газету, и, таким образом, осталась бы память о ее сыне. Однако у нее получилось очень трогательное, но плохое стихотворение. И Зулфия понимала, что говорить с нею о нормах стихосложения не просто вздорно — бестактно. Но Зулфия была — поэт. Потому и поняла она, что не слова утешения нужны этой женщине. Она боролась со своим горем, пытаясь что-то сделать, — очень правильный и единственный, кстати, исцеляющий способ, значит, и подсказать ей следовало новое действие, равное стихам, но не единовременное.

И вот что Зулфия написала: «Дорогая Ульмас! Я думаю, Вам надо посадить дерево. Посадите дерево и назовите его именем сына». И все. Долго не было от Ульмас Каримовой никаких известий. Прошло несколько месяцев, прежде чем Зулфия получила от нее письмо. Да, Ульмас именно так и сделала, как посоветовала

ей Зулфия. Советы поэта — самые мудрые на свете. Она посадила чинару и назвала ее Хуснидин, как сына. «Я с ним разговариваю, он листьями шевелит и мне тихо отвечает. А я тихо спрашиваю. Громко нельзя, люди услышат, скажут: «У Хуснидина мать стала сумасшедшая от горя. Они же не знают, что это дерево — мой сын». Когда я был в гостях у Зулфии, она как раз получила это письмо. И она собиралась в дорогу, сказала мне: «Надо ехать, я хочу увидеть дерево-сына. Если бы вместо каждого ушедшего от нас человека люди сажали дерево — какой зеленой стала бы земля. Я через несколько дней приеду туда, в город Исфару. Это очень красивый город. И там растет дерево Хуснидин».

* * *

А весной этого года десятиклассники кишлака Кала-Азим писали сочинение на тему: кем хотят они стать. Несколько девушек написали, что хотят стать такими, как Зулфия. То есть не поэтами, но так же, как она, учиться, жить, работать, помогать людям.

— Мне было неловко об этом слышать, я ведь ничего особенного собой не представляю. А тут получается какая-то пионерская игра в знатного человека. С другой стороны, я их понимаю, они простые люди, им приятно знать, что девушка из их кишлака многого добилась, известна в республике, ее показывают по телевизору, читают ее стихи, печатают.

Это она напрасно. Кишлак гордится ею так же, как гордился ее отцом, всей их семьей. Кишлак воздает поэту.

* * *

Человек, выстроивший себя среди «близких людей», или тот, кто «держался корней», так же, как и не изменявший духовной преемственности, — может кому-то из

начинающих жизнь мальчишек и девчонок оказаться в помощь, его жизнь — в подсказку. Но — и только. Собственную биографию каждый должен выстраивать сам. С первых строчек.

Истории тех людей, о ком я рассказал, — не модели поведения, а лишь пути (некоторые из многих) нравственной, духовной самореализации. Мне нравятся эти люди, они поистине украшают собою землю. Но я знаю и еще одно: как много могут они, когда соединяет их вместе какое-нибудь общее хорошее дело. Впрочем, магия дела, у которого высокая цель, способна возвысить и сделать личностями даже тех, кто жил прежде суетно и мелко. Тех, кто и не подозревал, что способен на бескорыстие и самоотреченность. Настоящее дело по-настоящему строит людей.

И в заключение последний пример, последний урок. В главке о монтажнике Николае Новикове, создавшем подростковый клуб «Алые паруса», я ссылался на мнение писателя Владислава Крапивина, отметившего существенный момент в становлении детей: их изначально, ни в школе, ни в семье не приучают к активному общению с миром, не воспитывают элементарной смелости — в поступках, слове, не формируют самых первичных гражданских качеств, умения замечать несправедливость и с нею вступать в борьбу.

Владислав Крапивин сам по себе пример того, как человек, решительно расставшийся однажды с жизненной колеей, выбирает самостоятельную и трудную дорогу, находит мужество и силы с нее не сходить. Более того, это путь, по которому он ведет за собой учеников, выращивает поколение, которому с младых ногтей прививается острое чувство причастности ко всему, что происходит вокруг, чувство личной ответственности за происходящее. Это пример человека, который устоял в схватке с косностью, равнодушием, демагогией и провел через схватку целый отряд мальчишек, будущих борцов.

История, которую я сейчас расскажу, началась дав-

но, она переполнена событиями. Я лишь о некоторых, с которых она начиналась и которые определили все последующее.

УРОК ПОВЕДЕНИЯ

Жил-был писатель Крапивин. То есть он и сейчас живет, и все там же, в городе Свердловске, но уже не так счастливо, как прежде, и, во всяком случае, как мог бы. А в том, что лишился доли счастья, — сам виноват.

Как он этого, грубо говоря, добился? Очень просто. Пока писал себе потихоньку книжки для детей и потихоньку их печатал — все было хорошо. На книжки для детей и о детях спрос большой, вот и продолжал бы в том же духе. Но ему мало этого показалось.

И он сделал шаг, без которого не было бы и никакой истории. Он собрал вместе тех мальчишек, которые, как известно, всегда крутятся под ногами у детских писателей, чтобы те могли списывать с них свои рассказы и повести, и назвал это собрание морским пионерским отрядом «Каравелла».

То есть он основал «Каравеллу» и упразднил бесцельное уличное шатание двух десятков мальчишек, которые моментально надели форменные рубашки, береты с крабами и встали под знамена отряда, ожидая приказаний и приключений (мальчишки любят романтику). Вот тут и стало ему плохо.

Нелепость! Человек проявил инициативу, так сказать, организовал внешкольную работу на общественных началах по месту жительства, то самое, что всячески приветствуется, а ему плохо.

Приветствий, правда, хватало. О «Каравелле» писали газеты, потом журналы, еще потом сняли ее в кино, наконец сам отряд написал о самом себе и выпустил книжку. К этой литературе читателя и отсылаю. Из нее он узнает, какого можно было достигнуть эффекта, ве-

дя эту самую дворовую работу на общественных началах. В ней ярко показано, какие замечательные, загорелые, здоровые и счастливые дети получаются в результате. Как славно занимаются они и морским делом, и фехтованием, и фильмы снимают. К началу наших событий в отряде было уже шестьдесят человек. А у них — свои яхты и кинофотоаппаратура, лаборатория для кинофотоработы и кают-компания со знаменами и барабанами, рубка с компасом, штурвалом и спортзал, расписанный по стенам батальными и морскими сценами, декорированный якорями и канатами.

Но. За блестящей светской жизнью, которую вел отряд, была еще одна, остававшаяся почти безвестной для читательской публики, жизнь, в которой царили совсем иные законы и где лились, так сказать, невидимые миру слезы.

Об этой стороне жизни «Каравеллы» тоже было написано, и немало, не меньше, пожалуй, чем о первой, но написанное не попало в печать. А зря!

Поскольку эта вторая, малоосвещенная сторона жизни отряда и была главной. Именно она-то и стала прямой причиной утраты счастья командором Владиславом Крапивиным.

Предам гласности один из давних документов, проливавших свет на эту темную сторону жизни:

«Прошло уже два года, как более 60 человек обратились в Свердловский обком КПСС по поводу неправильного поведения писателя Владислава Крапивина и использования им своих приятельских и родственных связей с представителями нашей прессы в низменных целях саморекламы и клеветы. Среди подписавших это письмо в обком КПСС и в редакцию «Правды» люди самых разных профессий и возраста, коммунисты и беспартийные, рабочие заводов, служащие, инженерно-технические работники, врачи и другие представители интеллигенции, пенсионеры.

Все они единодушно выразили мнение, что по своим

моральным качествам и поведению В. Крапивин не может и не имеет никакого права заниматься воспитанием детей. Его приятели из прессы договариваются до того, что объявляют его современным Гайдаром. Трудно придумать большее глумление над светлым именем прекрасного писателя, героя, коммуниста. А кто-то, видимо, заинтересован в том, чтобы преподносить детям яд в столь яркой и блестящей обложке, растлевая их детские души.

Мы убедительно просим Вас оградить нас и наших детей, предоставив ему (то есть Крапивину. — *В. Ч.*) место для экспериментов над детьми где-нибудь в другом месте, подальше от наших детей и поближе к комсомольским органам, которые бы вместе со школами могли лучше следить за ходом эксперимента и поведением экспериментатора. Жители домов № 30, 32, 34 и др. по ул. Прониной».

Итак. Шестьдесят рабочих, служащих, интеллигентов и пенсионеров объединились против шестидесяти «каравелловцев», обитавших в подвале одного из вышеупомянутых домов, а именно дома № 30 по той же улице. То есть, что я пишу! Не против, а за! За их судьбу, будущее, сохранение счастливого детства. На шестьдесят мальчишек — шестьдесят защитников, во главе которых встал бывший прокурор, а в период событий — доцент, преподаватель института, председатель домкома Владимир Леонидович Суховерхий.

Владимир Леонидович кратко обрисовал мне создавшееся положение: «Крапивин ненавидит всех людей. Он — типичный параноидальный психопат. Заместитель у него — дебилка. Мне, как юристу, приходится встречаться с совсем падшими людьми, но что-то в них можно найти светлое, за что-то зацепиться и вытащить человека, а здесь... Есть в нем нравственный дефект, который я не могу объяснить».

Что можно было предпринять, имея дело со столь опасным субъектом? Заявить куда следует. Жители за-

явили. И с тех пор уже несколько лет писали во все мыслимые инстанции, и только диву можно было даваться, почему в результате так и не было принято никаких мер. Потому что вчитываешься в объяснения, предупреждения, заявления, жалобы — и за строчками проступает истинное лицо Владислава Крапивина, лицо матерого, равнодушного и жестокого экспериментатора, для которого подопытным материалом служат дети. Что же это за опыты? Поищем в заявлениях.

Создав себе с помощью рекламы роскошную обстановку яхт, картин, почитания, закрывшись от людских глаз в подвале, писатель-психопат экспериментирует над детьми. Ясно. Но что он делает конкретно? Одна из жительниц дома № 30: «А вот пусть родители тайком понаблюдают, чем они там занимаются. Вы постойте за дверью, послушайте, во втором подъезде есть заколоченная дверь, за ней все слышно, постойте за ней».

Так что же, черт побери, в конце-то концов, делает этот Крапивин? Опробывает на детях новые страшные сыворотки? Режет на куски, а потом опять сшивает? Что, что делает он, этот враг детей, называющий себя писателем?

К великому сожалению, большинство вышеописанных документов и устных свидетельств страдало одним недостатком. В них **называлось** зло, но не приводилось примеров его. Это бывает. Людям кажется порой, что названия уже самого по себе достаточно, чтобы тот, к кому обращается проситель, вознегодовал и преисполнился желания покарать указанного злоносителя. Я бы определил эту эмоциональную манеру как **назывной метод.**

Метод, между прочим, себя оправдывал. Создавались и прибывали комиссии, но начинали все с тех же банальных просьб: расшифровать названное. Жители разъясняли: «Он морально неустойчивый человек». «Дети у него такие же тупые, как он сам». «Дети нашего

дома ненавидят Крапивина. Нашим детям не нравится в нем все, даже походка».

Ненавидят. Это понятно. Но за что? За походку? И все? А вам мало? Ну тогда слушайте главное: «Дети в отряде облачены не в школьную или пионерскую форму, а в черные рубашки с закатанными рукавами. На стенах «Каравеллы» красуются флаги с крестами, а из обтянутой черным крепом рамки глядит со стены пустыми глазами белый череп со скрещенными костями — эмблема анархистов, облюбованная впоследствии и фашистскими головорезами». М. Суховерхая: «Это попирательство ленинских принципов — чернорубашечничество в отряде».

— Уважаемые защитники, — пугались члены комиссий, — вы тут что-то не разобрались. Это мальчишки снимали фильм «Остров сокровищ», про пиратов. А пираты были народ отсталый, малограмотный (они жили еще до анархистов) и выбирали себе эмблемы не по политическому признаку, а по принципу: лишь бы пострашней. Так сказать: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому». А фильм «каравелловцы» крутили потом неоднократно и всех на него приглашали: не для себя же снимали. Вы бы сходили, и не было бы недоразумений. А рубашки у мальчишек есть синие, есть и белые — парадная форма. Черные — форма будничная, они такие из хозяйственных соображений, белые стирать мальчишкам пришлось бы чуть не ежедневно, они ведь обязаны за своей формой сами следить. А в черных можно лодку смолить, в лесу валяться. И форма эта — самая настоящая разновидность пионерской, ничего особенного мы в ней не находим. В Артек «каравелловцы» ездили в награду за корреспондентскую работу, яхты строили сами из старых лодок, на аппаратуру пошел гонорар за одну из книжек Крапивина. Отряд никогда никому не стоил ни копейки.

Жительница Круглова: «Не знаем мы, чем они там занимаются».

А вы бы зашли и узнали. И не пришлось бы напрягать воображение, стоя под заколоченной дверью. Или вы считаете, что доказательства — это что-то из высшей математики? В общем, уважаемые, самовозбуждающиеся граждане, оставьте-ка вы отряд в покое, пусть себе живет дальше.

Примерно такие слова произнесли однажды и работники райкома партии, чем смертельно обидели жителей, которые моментально нажаловались на райком в обком, а когда и в обкоме развели руками — обратились еще выше. Но и там не преуспели. «Я уж не знаю, — горько сказал мне Владимир Леонидович Суховерхий, — есть ли у нас в стране справедливость. Я начинаю в этом сомневаться».

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало решение отдать отряду полностью красный уголок в подвале, из которого десять лет подряд выкуривали жители верхних этажей распоясавшегося писателя, подложившего такую мину под дом № 30.

Если до этого они, самое большее, ну, ломали двери или мебель «Каравеллы», обрывали провода, поощряли своих «старшеньких» бить стекла в окнах подвала и возвращающуюся вечером из «Каравеллы» мелюзгу, отбирать у нее ремни и прочие знаки принадлежности к отряду, то теперь терпение лопнуло.

Житель Коптелов взял газовый ключ и спустился вниз, чтобы сокрушить «Каравеллу». Немного посокрушал, но его увезла милиция. Он вернулся, взял ключ и снова пошел в подвал, чтобы закончить начатое. Поломал для разминки мебель, потом с криком: «Давить вас, гадов!» пробил ключом голову Сергею Цымбаленко, одному из крапивинских помощников, и наконец почувствовал себя удовлетворенным.

Итак, налицо имелась ненависть. Оглушающая, ослепляющая, использующая любые средства, вплоть до спекуляции на высоких понятиях, исчерпать которую способно было лишь физическое уничтожение или, на

худой конец, крайняя степень унижения противника. Откуда ненависть? В одной из своих книг Крапивин написал: «Есть такой тип людей — склочники. Понять склочника невозможно. Пишет жалобы, шепчет, гадости говорит. Вроде бы себе никакой пользы, а людям жизнь портит».

Но мы обязаны его понять. Так сказать, войти в положение. Войдем. Что же увидим?

Прежде всего — мировоззрение. Типичное, побуждающее склочников преследовать человека лишь за то, что он чем-то выделяется, на них не похож: «Хоть ты и писатель, тебя по телевизору показывают, а мы тебя мордой в грязь! А не зазнавайся, а не взлетай высоко, ты не лучше нас!» Но нет, это типичное побуждение никогда не способно породить такого накала ненависть, с какой мы имели дело в нашей истории.

Положение противников Крапивина было попросту драматичным. Драма заключалась в том, что их **не понимали.** Не понимали истинной причины их борьбы, вернее, не считали ее истинной. Да и сами жители упоминали ее мельком, поскольку даже не надеялись, что причина такая способна послужить основанием для официального уничтожения Крапивина и компании. У нее не было должного устрашающего вида. Она, ну, что ли, «не звучала». Потому что звучала она так: «Из простых, приветливых, обыкновенных детей формируются грубые, высокомерные и тщеславные люди с чувством презрения к людям и другим детям».

Обычные дворовые клубы приводят в норму трудных детей. Крапивин же, утверждали жители, обычных мальчишек делал трудными. От нормальных общеупотребительных игр дети, как известно, становятся тихими и послушными. Дети же, прошедшие через руки Крапивина, становятся сущими тиграми, для воздействия на которых в дальнейшем годится лишь устрашающая дрессура.

«Ну, это вы уж слишком, — усомнились проверяю-

щие. — Хулиганских-то поступков за мальчишками из отряда никаких нет». Вот он и звучал, главный пункт непонимания. Опасность тогда считается доказанной и реальной, когда выражается в хулиганских поступках. А высокомерие с презрением и доказать невозможно. Можно их подтвердить, сославшись на какое-нибудь действие, связанное с разрушением материальных ценностей? То-то. А доводы нематериального свойства — не котируются. Вот почему и прибегли наши жители к назывному методу, вот почему перешли от демагогии к рукопашному бою. Не от хорошей жизни.

Поэтому понять мы их должны обязательно. Поскольку нехорошая жизнь у отряда продолжалась. А конца ей жители не обещали.

А ведь началось все с того, что наши жители собственными руками поотдавали своих детей Крапивину. Потом позабирали. В отряд начали ходить мальчишки из других домов, часть — с другого конца города, часть даже из соседних городов. Как отозвалась об этом обстоятельстве одна из жительниц: «Пусть чужих детей портит, а своих мы уж сами как-нибудь».

Итак, поговорим о порче. За примером далеко ходить не надо: сам Владимир Леонидович Суховерхий в свое время попался на удочку и определил в отряд сына Андрея десяти лет. Ребенок у Владимира Леонидовича был тихий, само послушание и кротость. Мама считала, что с такими данными его и на улицу выпускать опасно: Уктус, окраина Свердловска, славился хулиганами. Гулял Андрюша только с мамой. И если решились родители отдать его в чужие руки, то лишь потому, что доверились реноме писателя, который обещал сделать ребенка посмелей и посамостоятельней. И сделал. Через пару месяцев Андрей на какое-то замечание отца, не совсем, правда, справедливое, ответил: «Видишь ли, папа, это мое личное дело. Я сам знаю, как поступить».

Владимир Леонидович, честно говоря, попросту обалдел.

Некоторое время пребывал он в стрессовом состоянии, после чего устроил сыну расспрос с пристрастием. И без труда обнаружил у Андрея самостоятельность в размерах, значительно превышающих все возможные пожелания родителей. Тот судил обо всем с непозволительной, с точки зрения отца, самоуверенностью, начал спорить, договорился до того, что не только родители, но и учителя иногда бывают неправы. Владимир Леонидович понял, что, если сейчас же не остановить этот процесс распада, дальше с ребенком просто не справиться. Он моментально изъял Андрея из отряда. «И вы знаете, — пожаловался он мне, — понадобился почти год, чтобы восстановить мальчика, выполоть из его души разросшийся сорняк, вернуть ребенка в прежнее состояние».

Родители, не обладавшие проницательностью Владимира Леонидовича, упустили момент, спохватились, ан поздно! Дети вышли из повиновения. Не просто «возражали» взрослым, они их не боялись. Они вообще никого не боялись. «Раньше скажешь им — марш домой! И они идут, как утки, послушно. А теперь...» Дети, утратившие послушание! И соблазнитель, как гаммельнский крысолов, заманивающий других детей! И вот они уже пляшут под его дудку.

Начались семейные драмы. Мальчишек «спасали»: пороли, сажали под замок. Появлялся Крапивин, начинал переговоры с родителями. Ему показывали на дверь. От него стали спасаться, как от чумы. Едва возникала во дворе длинная сутуловатая его фигура, в доме начиналась паника. Подъезды наполнялись лязгом запоров, жильцы переходили на осадное положение.

Итак. Разрушение авторитетов, разрушение семей, и еще одно. Одна из жительниц: «Если плохо учится ребенок — все равно ему разрешается приходить в отряд, а ведь даже в спортсекцию не пускают с двойками».

Да. В отряд с двойками пускают. И писателя Крапивина обстоятельство это не смущало. Более того, в очередной своей книжке, рассказывая об одном работнике гороно, он так выразился: «С одной стороны, требует: работайте с трудными подростками, с другой — заявляет: двоечников к занятиям в клубах и секциях не допускать! А где ему руководители клубов найдут трудных подростков с пятерками в дневниках?»

К помощникам школы в деле повышения успеваемости Крапивина явно не причислишь. И в то же время иногда он столь энергично вмешивается, если кому-то из его воспитанников выставляется двойка, что диву даешься. В. Л. Суховерхий: «Учителя плачут от него горькими слезами и боятся больше любого инспектора».

Мне довелось участвовать в ходе разбирательства по поводу получения одной двойки и могу сказать, что противоречия в поведении Крапивина найти мне не удалось.

Двойку получил Саша Шильников, один из капитанов «Каравеллы», четырнадцати лет. Так сказать, четырнадцатилетний капитан. Двойка была по поведению, за четверть.

Надежда Гавриловна, классный руководитель:

— Не двойка, а «неудовлетворительно».

— А за что выставляется по поведению «неудовлетворительно»?

— За хулиганство, грубые нарушения дисциплины.

— А что значит — грубые нарушения дисциплины?

— Курить, драться, стекла бить и тому подобное.

— И все это Шильников проделывал?

— Он ничего этого не проделывал, не так он глуп.

— Так за что же «неуд»?

— Он противопоставил себя классу. В классе его считают ябедником. Ему ничего не стоит пойти к директору и нажаловаться.

Четырнадцатилетний ябедник стоял тут же, у при-

толоки. Он не рассматривал ни пола, ни потолка, не вертел дырок в пиджаке, не ковырял носком ботинка половицу. Он просто стоял, этакий маленький инфант, на вид больше двенадцати лет ему не дашь, от девчоночьих ресниц тени на щеках, и снисходительно слушал. Будто именно он был из нас самый взрослый. С любопытством вгляделся в Надежду Гавриловну, взмахнул ресницами и уточнил: «Я из отряда, поэтому мне и приходится ходить к директору. Другие же не пойдут».

— Ты молчи! — крикнула вдруг пронзительно Надежда Гавриловна. — Еще рассуждаешь! Какое же ты отвратительное создание, Шильников!

Отвратительное создание снисходительно пожало плечами.

— Ну! Видите теперь, как он себя ведет! Какую оценку заслуживает такое поведение?

— Да как же он себя ведет?

— Вызывающе!..

Пока было очевидно одно: Надежда Гавриловна просто не любит Шильникова. Он ее раздражает физически. Органически. Она его, так сказать, не переваривает. А почва нелюбви? А почва та же самая, что и у жильцов дома № 30. Двойка выставлена Шильникову не по поведению, а за поведение.

Его поведение — типичное поведение любого крапивинца. Они вежливы, они корректны, но они заявляют взрослым: «Вы ошибаетесь» и даже: «Вы не имеете права». Они держат себя со взрослыми на равных. Немного найдется взрослых, способных долго такое выдерживать.

Но вернусь к Шильникову. Как же противопоставлял он себя классу? Очень просто. Стоило учителю применить по отношению к ученику «физическое воздействие» (а в этой школе такое случалось), Шильников вставал и отправлялся к директору. Никто, кроме него, так не поступал. Класс молчит. Даже сами потерпевшие. А для Шильникова такое поведение есте-

ственно. Он иначе не умеет. «Есть же устав», — сказал он мне. И что ему возразить? Действительно, есть устав «Каравеллы», а там: «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня».

Был случай, когда группа мальчишек из отряда под руководством Шильникова объявила бойкот учителю физкультуры, который имел привычку, выгоняя провинившихся из зала, придавать им ускорение ногой. Извиняться учитель отказался, изменяться — тоже. Вот где вмешался Крапивин, и учителю пришлось школу покинуть. Каждый такой случай Крапивин делал достоянием гласности, доводил до сведения гороно, а гороно поддерживало его всегда. Поэтому применять «физическое воздействие» изредка встречающиеся любители прекращали.

Справедливость торжествовала. Но с одним оттенком. Представьте: ученики контролируют учителя! Каково? А теперь представьте, что могут начать чувствовать при этом ученики!

Есть в происходящем и еще одно обстоятельство. О нем говорили мне с осторожностью даже люди, весьма доброжелательно относящиеся к Крапивину и его «Каравелле»: а хорошо ли мальчишкам в отряде с точки зрения простого человеческого счастья? Смотрите. Они не такие, как все. Их не любят в классах послушные одноклассники. Жизнь отряда — конфликт и борьба. То выступает против него домовый комитет с петициями, то житель Коптелов с газовым ключом. Много лет уже выступают.

Счастливого детства, то есть отсутствия обид, оскорблений, страданий, хотят для детей родители и учителя. И жители — тоже об этом: мы хотим, чтобы наши дети были счастливы! И Крапивин хочет того же.

Но насколько же по-разному понимают они счастье. Между тем, что предлагает Крапивин, и тем, общепри-

нятым, что отстаивают жители, — баррикада. Одно счастье отрицает другое. Несовместимость.

Ну, хорошо, снова говорят Крапивину люди, вполне разделяющие его озабоченность, его устремления: не слишком ли велика плата за самостоятельность, смелость — устраивать детям жизнь гадких утят?

Сейчас я скажу ужасную вещь. Я считаю, что детям надо страдать, им полезно страдать. Видите ли, наши дети где-то когда-то однажды разучились печалиться, я имею в виду — по стоящим поводам. И слава богу, воскликнет множество родителей, убежденных, что именно в отсутствии огорчений — счастливое детство. Но не стремление ли родителей оградить детей до поры от сложностей взрослого мира приводит к тому, что радости и горести их отпрысков мелки, пустячны, жалки (хотя и сопровождаются самым настоящим смехом и слезами, но не те это слезы). Причины их — слишком часто сугубо материальны. Купили мотоцикл или джинсы — счастье. Не купили — несчастье. Нет у родителей денег — напрасно будут искать понимания у почти совершеннолетнего своего ребенка, я уж не говорю сочувствия, найдут личную на них обиду. И пусть не жалуются на его жестокость. Сами не допускали его в мир взрослых переживаний, к сопереживанию не пускали. То же и в школе: мальчишке не дают участвовать в жизни, ему отводят роль созерцателя ее, он и предпочитает созерцать, быть свидетелем происходящего, а не участником.

Сопереживание и прямое участие детей в жизни взрослых не разрушает личности, напротив — созидает, делает маленького человека добрее, умнее, деликатнее, проще говоря, делает его хорошим человеком. И сказка о гадком утенке — не история несчастий со счастливым концом, а притча о типичном пути к совершенству.

Мальчишки из «Каравеллы» счастливы. Увидеть их счастье просто. Двенадцать ступенек вниз, в подвал дома № 30, и — любуйтесь. На человека свежего подвал

произведет впечатление сильное. Понять с первого взгляда, что здесь происходит, практически невозможно. Потому что происходит черт знает что. Все вокруг и вертится, и кружится, и несется кувырком, вопя в неизбывном восторге, кто-то с кем-то сражается в углу, кто-то лупит в барабан, в рубке крутят фильмы и хохочут как оглашенные. Две студентки педвуза, пришедшие за опытом внешкольной работы, сидят у стола, нервно вздрагивая, судорожно прижимая к груди портфели, в расширенных глазах их беспомощное отчаяние.

Командор Крапивин, как Гулливер, в этой маленькорослой толпе, разгуливает среди вакханалии спокойно, несколько задумчиво, что-то у кого-то спрашивает. Насвистывает. И вот, на наших глазах, негромкий свист его производит чудо. Кто-то подхватил свист командора, и буйство микшируется, и через некоторое время на кают-компанию снисходит такое задумчиво-свистовое настроение. Лопоухий смешной мальчишка в очках Боря Родыгин, отрешенно рисовавший до того марсиан (иллюстрировал выданный кем-то в альманах «Синий краб» очередной опус из приключенческо-космической жизни), поднимает голову и удивленно озирается, заметив наступившую смену погоды: «Это что за концерт вдруг у нас!» Юрка Палтусов подсаживается и подрисовывает марсианам носы: «Не отвлекайся!»

Первое наблюдение: здесь всем все можно, хочешь, смотри кино, лезь в шкаф, бери любую книгу, меняй в люстре пластмассовый подгоревший абажур. Можно орать, валяться, всюду влезать, идет непрерывная игра. Подвал — это собственная их, мальчишек, страна, место в жизни, где нет запретов, где узаконено раскрепощенное поведение.

Холодными волнами страха окатило оно бедных студенток. Повальное разрушение общепринятых педагогических норм творилось на их глазах. Так вот что называет Крапивин «внешкольной работой».

Да, это. Не всей, правда, работой, но составной

и необходимой частью ее. Раскрепощенность здесь не означает вседозволенности. Внешний хаос поведения пронизывает жесткая структура законов, созданных самими мальчишками. Они поступают свободно в рамках осознанной необходимости. Она — гарантия безопасности материальной, во всяком случае.

Сменяя друг друга, отзанималось в подвале несколько групп, прокатилось через кают-компанию несколько поголовных игр, и никто ничего не сломал, вещи остались на местах, абажур сменили, пол вымыт, рисунки готовы, и вечер настал. Жарко в комнате. По углам рассказываются сказки. За столом решают вместе заданную на дом задачу. «Домой идем!» — кричат. Все соглашаются, но никто не уходит. Крапивин выпроваживает Палтусова, главного заводилу, хочет его нейтрализовать: «Домой! Домой!» А тот уворачивается, хохочет, кричит: «Сначала меня поймать надо!»

Здесь все равны. Нет разделения на командиров и подчиненных, старших и младших. Первоклассник пожимает руку семикласснику и отправляется с ним в угол посудачить с полным чувством собственного достоинства и равенства. И малыш, если он здесь старожил, может по-взрослому покровительствовать старшекласснику-новичку. В Крапивине видят они сверстника, носятся, заманивают его: «Славик, а ну давай с нами!» — «А смысл-то какой в беготне?» — интересуется Крапивин. «Так весело же!»

Здесь самоуправление. Всем в отряде заправляет Совет капитанов. Не стану приводить законов и кодекса чести «Каравеллы», они рассчитаны на случаи с «большой буквы». Беру будни. Законы неписаные. Володя Тютюнников толкнул Борьку Родыгина, в беготне дело обычное. Но, видимо, не просто больно толкнул, а обидно: не лезь, сопля! Тот в рев. Результат? Тютюнников кинулся к Борьке, запнувшись лишь на секунду, чтобы оценить ситуацию: «Борь, ты прости меня, ладно, не сердись!» Тот, хлюпая носом, соглашается. Инци-

дент исчерпан. Сработало правило первое: самоутверждаться за счет товарища — недопустимо. Нельзя унижать личность. Она — суверенна.

Второе неписаное правило: человеку надо доверять. Если заплакал мальчишка — все ему прощается, особенно если и прегрешение и человек маленькие. Здесь слезам верят. Симулянты продерживаются до первого повтора. Третье правило: надо уважать в человеке личность, даже если заврался или нашкодил этот человек. Когда ссорятся две крохи, никогда у них не услышишь чего-нибудь вроде: «Генка, ты врешь!» Бросают сразу же тон панибратский и переходят на рыцарски-салонный: «Гена, ты не прав!» Смешно это выглядит только со стороны. Так они самоуправляются.

Уважение к другим приходит через преодоление себя. Тут уж никуда не денешься. Палтусов — одна из всеобщих отрядных слабостей — задира, хвастун, самонадеянный и темпераментный — вечно в борьбе со своими скандальными наклонностями. За шкоду на разминке отправили его в «карцер» (фотолабораторию) на отсидку. Он разобиделся страшно, поскольку наказали на глазах всей его группы — малышей, которые смотрят ему в рот и всякое слово принимают как откровение. Капитаны тихо Юрку уговаривают: «Не капризничай, иди в лабораторию!» Тот отдернулся, сел на скамеечку, говорит: «Не трогайте Юрку! Юрка думать будет!» Пошел, наконец. Поборол себя. Сообразил, что и его малышам увидеть такое будет полезно. Крапивин зажигает в лаборатории свет, чтоб Палтусову не было скучно. Тут уж он начинает скандалить: «Не надо, пусть будет тьма беспросветная. И заприте меня. Все уходите, все!» Пацаненок из Юркиной группы переживает, просится: «Можно мне с ним посидеть?» Юрка сам его гонит: «Брысь! Не мешай страдать командиру!» — «Палтусов, — говорит мне Крапивин, — это личность».

Видите ли, какая вещь. Отряд не принадлежит Кра-

пивину и никому не принадлежит из взрослых. Он принадлежит мальчишкам. Они сами решают, как поступить в том или ином случае.

Я поехал с ребятами лет 12—13 на лодочную станцию, разбирать на зиму яхты. Поздняя осень была, холод, руки леденели, обшивка яхт залубенела, смерзлись крепления. Мы с Крапивиным стояли рядом с работающими ребятами и брались за дело лишь в тех случаях, когда лодку надо было перевернуть или перетащить, поднять особенно тяжелый тюк. Всем распоряжались мальчишки. Возились они вдвое дольше, чем если бы за дело взялся взрослый человек, но Крапивина это нимало не беспокоило, поступал он так абсолютно сознательно: это их лодки, их дело, они сами решают, что делать вначале, что потом. Начни он работать за них или ими командовать — вся его воспитательная метода полетела бы вверх тормашками. Поэтому здесь они распоряжались и делали основную работу, а он им лишь помогал.

Роль взрослых в отряде — поправлять и направлять самостоятельные действия малышни. Вот идут занятия. Сергей Цымбаленко, один из флаг-капитанов, занимается с самыми маленькими. Чем занимается с ними Цымбаленко, серьезный взрослый человек, преподающий в институте философию? Разговор за столом, где сидят они, тих и таинствен. «Кто какое сделал открытие?» — спрашивает Цымбаленко. Это «домашнее задание». Отвечают. Один выяснил, кто живет в норе под домом и почему людей боится. Бродячая кошка. Боится, что убьют, потому что для людей бесполезна. Другой сообщает — почему дети плачут. Оказывается, от обиды, а не от боли. Разговор идет личный, интимный и потрясающе для всех интересный. Собственно, что происходит? Мальчишки сами открывают законы жизни, добра и зла. Они философствуют. Цымбаленко их открытия только формулирует.

Надо сказать, что самое существенное в любых

здешних занятиях — идеальная их «настроенность» на игру. Допустим, Саша Шамарин, филолог, в то время студент пединститута, по форме читал ребятам самые настоящие лекции. А по сути? Каждая — целый спектакль, в котором участвуют ребята. Впрочем, тут дело еще и в личности «режиссера». Шамарин — талантливый, своеобразный человек. И что решающее — он учитель милостию божьей. Он и живет так, что его поступкам можно учиться. И мальчишки учатся. Он приезжает к ним из Челябинска. Поступок. Привозит на свои лекции уйму редкой утвари — иллюстрации. Тоже поступок — отношение к делу. Тем более что утварь далась ему не даром. Она — результат его походов по деревням. За подсвечник — день копал картошку у какой-то бабуси. Расстается же Саша Шамарин со своими трудно добытыми вещами легко. Он их чаще всего после лекции оставляет отряду для съемок. Целый ряд поступков. Он щедр на труд и на доброту. Его отношение к людям и вещам впитывают мальчишки.

Вот он рассказывает о русских сказках. Тонким голосом поет печальную предсвадебную песню, подпершись по-бабьи, и никто из мальчишек не засмеялся такому его превращению. Смотрят блестящими глазами, покачиваясь в такт. Потом раздал им Шамарин листы бумаги, чтоб рисовали, кто что хочет, и начал рассказывать сказки, объясняя природу их и происхождение. Он так рассказывал: «Представьте себе кикимору...» Тут его прерывает взрыв дикого восторга. Все изображают, сидя на месте, кикимору, руками, ногами, физиономией, потом, пока он про нее рассказывает, хватаются за карандаши. Один мальчишка весь листок исчеркал, внизу написал: сила нечистая, и хохочет, объясняя, где глаз, где лапа. «Ха-ха-ха, — догадался сосед, — нечистая, значит — мыться не любит!»

Когда человека переполняют ощущения, открытия, ему, естественно, невтерпеж ими поделиться. Тут настает очередь «Синего краба». Сюда сносятся стихи, рас-

сказы, повести и романы. Потом за книжку садятся художники, и получается совершенно сказочная книжка — подарок самим себе. Открытия и откровения ребят. Самое в отряде увлекательное чтение.

Состоится открытие мира. Зрительное: «Выпал снег, и на крышах стали видны следы кошек». Духовное. И десятилетний мыслитель Сережка Кузьминых сочиняет рассказ «Два листка», такой маленький шедевр: «Однажды весной на невысокой березке появились два листка. Один спросил: «Ты кто?» — «Я листок». — «И я листок. Так мы братья?» Так они и жили. Вот как-то в полдень один листок спрашивает другого: «Ты не знаешь, скоро ли осень?» — «Скоро, а что?» — «Понимаешь, осенью листья падают и засыхают». — «И мы с тобой...» В это время листок рванулся и полетел вниз. Вот и конец...»

Но — любопытный момент. Присутствую при разговоре двух литераторов. Сережка Кузьминых — ясноглазый, чистенький, умытый такой мальчишечка, ни следа забот и тревог на челе, взбрыкивая, носится по кают-компании. Крапивин мыслителя изловил, зажал для страховки меж колен, спрашивает:

— Серега, ты сейчас пишешь что-нибудь?

Серега жизнерадостно:

— Начал писать очень длинную повесть.

— Много написал?

— Не-а, один заголовок.

Выпустил Крапивин Серегу гулять дальше, а мне пожаловался: «Вот что меня беспокоит: они не честолюбивы. Ни публикации в центральной прессе, ни собственную их книгу, ни поездки они не воспринимают как что-то особенное. Или они не понимают, что это — награда? Меня это даже огорчает».

А чего же огорчаться, когда это естественное следствие жизни отряда, нацеленности ее. Да, они ничуть не горды тем, что пишут стихи, повести, снимают фильмы. Это норма их жизни. И потому им не кажется, что они

умнее или талантливее других мальчишек, они уверены, что все могут то, что они. Их фильмы — сплошные капустники, они вольно переписывают «Золушку» и «Трех мушкетеров», превращая их в дразнильно-пародийные импровизации на темы собственной жизни. Самый тон их бесед, повседневного общения, ежеминутных розыгрышей — привычное уже упражнение в творчестве. Но и творчество здесь — не самоцель, роль его подчиненна, так же, впрочем, как и морского дела, фехтования и массы других занятий, о каждом из которых можно рассказать многое. И все это — средства. А цель то, с чем мы и имеем дело, — раскованность мыслей и поступков.

В отряде можно высказать любую нелепую идею — высмеивать не станут, никто не схватит за руку, не сделает страшные глаза: что ты такое говоришь! Разве так можно? Можно. У них есть право на ошибку. Ошибка не загоняется внутрь, потому в ней и разобраться легко и, следовательно, исправить. Лучше ли, когда человек, боясь сказать не то, вообще ничего не говорит?

А эти дети говорят. Свободно, то, что думают. И это вызывает ужас у некоторых педагогов и заявления о том, что дети в отряде становятся трудными.

А кстати, что такое трудный ребенок? Это такой, который не поддается общепринятым воспитательным приемам? Вот-вот. Он создает трудности для воспитателя. А этого, конечно, никто потерпеть не может. Если дети еще захотят и воспитываться не так, как мы умеем их воспитывать, чем все это кончится? Так вот, мы переучиваться не будем, пусть они приспосабливаются.

В «Каравелле» собрались неприспособившиеся. В отряд принимают всех желающих. А остаются не все. Чаще всего трудные и остаются. Многие из так называемых «неблагополучных» семей. Один мальчишка и ночевать старался остаться в отряде, домой никак не хотел, дома пьют, лупят его с порога. Страшно, когда дети не хотят домой. Для таких отряд — место,

где тебе рады, и это — друзья, которые тебя поймут, пожалеют и поддержат, а в случае чего — защитят.

Другой тип ребят, приживающихся в отряде, — изгои, те, кто не смог самоутвердиться на улице. Дворовые парии, над которыми издеваются. Они вырождаются в шутов, прихлебал, личность их разрушается. Вот тут и становятся они трудными в общепринятом смысле, иногда просто шпаной. Отряд этого превращения не допускает.

Пришел однажды сюда жалкий рыжий пацаненок, задразненный и затравленный во дворе. Учился в третьем классе и, надеясь в школе приобрести какой-никакой авторитет, на потеху коридорным болванам вытворял всякие унизительные штуки. Рос такой злой, противный и вредный малый, в добро не верящий.

В отряде над ним не смеялись, а на шутки его смотрели терпеливо-снисходительно и на новые не поощряли. Потом он как-то присел к столу, где делали «Синего краба», и нарисовал зайца. Такого нарисовал зайца, что Крапивин сразу и не поверил: «Сам нарисовал?» — «Сам! — завопили свидетели. — Это он сам, своими глазами видели!» Общим этим восторгом мальчишка был потрясен. И начал он рисовать для альманаха. И стал патриотом отряда. Сейчас он один из ветеранов. «Но считать, что развитие его завершилось, — заметил Крапивин, — ошибка, сейчас-то все лишь и начинается. Пока он стал просто нормальным мальчишкой. А во что разовьется — ни он, ни я пока не знаем. Поживем, увидим».

Вот так отряд перехватывает кандидатов в трудные. А поскольку туда норовят податься чаще всего мальчишки остро чувствующие, ранимые, восприимчивые, отряд, переманивая их, запасается талантами. Причем самого разного толка. У одного кандидата, в жизни видевшего мало ласки, ставшего в обращении однослож-

но-однотонным, в отряде вдруг прорезалась некая наклонность подпольно-филантропического свойства. Где-то наскребет мелочи и на день рождения дарит всем подарки, но не из рук в руки, этому он научиться не смог, а весьма таинственным способом: в пальто или в ботинок засунет, в почтовый ящик. И тут дело посложнее страсти к сюрпризам. Его любят в отряде, а он не знает, чем за это отплатить.

Вот почему «Каравелла» и законы ее в жизни этих ребят — все. Однажды знаменосцев, ассистентов, барабанщиков отряда вызвали на репетицию детского парада: они, считается в городе, создают одним своим видом должный настрой, у них все выходит «по-настоящему». Итак, вызвали, поставили в угол знамя, которое мальчишки должны были сопровождать, и ушли обедать. Потом еще что-то случилось, и о них забыли. Мальчишки простояли несколько часов, ни на шаг не отходя от знамени. Ни один не ушел, а барабанщики в отряде, надо сказать, самые малыши, до десяти лет. Им просто кое-куда сбегать чаще, чем взрослым, надо. «Что же вы не ушли? — изумились организаторы, вернувшись наконец. — Это же знамя, его никто не украдет!» Мальчишки ничего не ответили: а что на такое ответишь? Что ответишь взрослым людям, которые говорят с ними на другом языке?

Помните ли вы рассказ Пантелеева «Честное слово»? Согласитесь, что ситуация, в нем описанная, по нынешним временам почти невероятна. А для крапивинцев она — норма. «Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем — в сдержанности, в прямом открытом слове, в некоторых лишениях, в смелости... Коммунистическую волю, коммунистическое мужество, коммунистическую целеустремленность нельзя воспитать без специальных упражнений в коллективе» — так полагал А. С. Макаренко. Отряд «Каравелла» дает эти упражнения.

Вот какой случай счастья. У Крапивина болезнь сердца — от нервотрепок, перегрузок. Он нигде не бывает, в обществе он — малообщительный человек, с ним нелегко разговаривать. А что взамен? Отряд.

Это трудное дело — создать отряд. Но во сто крат труднее — его сохранить. У Крапивина талантливые помощники, кажется — им бы самим по отряду. А у них и были отряды. Только не выдержали «встречного ветра».

Крапивин начинал как идеалист. Ему казалось, что в его целях и идеях все ясно и всем понятно. Ведь цели и идеи были им не с Марса привезены, это были идеи — общепринятые, почти лозунговые. Однако оказалось, что стоит их начать осуществлять в жизни, как они, очевидные, не оспариваемые, порождают страшную неприязнь и сопротивление, а отряд, следующий им, вызывает раздражение самим фактом своего существования.

Крапивин сказал: «Мне удалось сохранить отряд — но не ценой компромиссов». Бескомпромиссность в Крапивине доведена до того предела, что сейчас во многом определяет и самый характер его. Он — как сжатая пружина, готовая моментально развернуться для отпора.

Счастье мальчишек из «Каравеллы» и их командора в том, что они однажды, совершенно сознательно, открылись тем ветрам жизни, которые гуляют за клубными стенами, приняли их в свои паруса и принялись учиться плавать — и по ветру и против.

* * *

Непрост путь к себе. Непрост путь к другим. Развитие личности бесконечно. Важно начать. Начинайте. Пусть будут точны первые строчки вашей судьбы.

Узнавая других, узнаешь себя

Когда-то вместе с Владимиром Черновым мы работали в «Комсомольской правде». В те самые годы, которые мы сегодня вспоминаем как остановившееся, застойное время.

Думаю, еще нужно время и время, чтобы по-настоящему, серьезно осмыслить их. И сложные судьбы людей, которые пытались противостоять им. И не менее сложные обстоятельства, которые мешали этому противостоянию.

Почему я вспомнил о недавнем нашем прошлом, прочитав книжку Владимира Чернова? Да потому только, что люди, которые и тогда, в сложных обстоятельствах, пытались пронести правдивое слово сквозь ложь времени, — и готовили сегодняшнюю перестройку, и в первую очередь имеют сегодня право на правду, которую так легко говорить тогда, когда правда стала обычной нормой жизни.

Владимир Чернов — именно из таких публицистов, и потому, наверно, герои его очерков так точны и узнаваемы. Они пропущены сквозь личность автора, узнавая их — он узнает и себя. А без этого как же писать?..

Внимательно, осторожно, с прицелом на будущее исследует Владимир Чернов коллизии своих героев. Из «серой жизни», которой они живут, он хочет если и не вывести их (что чаще всего свидетельствует о самообмане автора), то по крайней мере дать ей иные краски, с которыми жизнь становится приемлемее для человека.

Вспоминаю, как Марек Котаньский, организатор системы борьбы с наркоманией в Польше, сказал мне: «Я лечу тем, что приучаю наркоманов к серой жизни, помогаю им жить в ней».

Наверное, для кого-то это звучит жестоко. Но мне кажется, именно в подобной жестокости и есть та правда, которая так нужна сегодня всем, а тем, кто вступает в жизнь, — особенно.

Владимир Чернов не подыгрывает и не очаровывается своими героями. Он заставляет принять жизнь, какая она есть.

Помните, как он описывает метания своего героя?

«...Осталась надежда на рецепт, который теперь уже всемогущая наука должна придумать для несчастного человека. Подсказать какие-то формулы, слова, предписать поступки...»

И тут же резко отрубает надежды: не поможет рецепт, не спа-

сет наука, нет надежды на нее, исцеляющую и спасающую всех несчастных.

А что же есть?

Да тот поиск истины и справедливости, который всегда искало человечество и, может быть, каждое наше мучительное открытие правды — есть еще один шаг в этом поиске.

«Непрост путь к себе. Непрост путь к другим. Развитие личности бесконечно. Важно начать. Начинайте. Пусть будут точны первые строчки вашей судьбы».

Такими словами кончается эта книга.

И, надеюсь, начнется чья-то новая жизнь. Ведь, в принципе, каждый из нас хочет начать жизнь заново. И всегда ждешь, кто бы в этом помог.

Эта книга — из помощников.

Юрий Щекочихин

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 6104

Чернов Владимир Борисович

ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ СУДЬБЫ

Заведующий редакцией В. Володченко
Редактор М. Земнов
Художник В. Васильев
Художественный редактор К. Фадин
Технический редактор З. Ахметова
Корректоры Н. Хасаия, Т. Контиевская

Сдано в набор 08.07.88. Подписано в печать 08.12.88. А13617. Формат 70×108 1/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 9,8. Условн. кр.-отт. 10,06. Учетно-изд. л. 10,3. Тираж 100 000 экз. Цена 40 коп. Изд. № 1822. Заказ 9—15.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-00584-8

40 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ